

**Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Пензенский государственный университет»**

На правах рукописи

Худякова Елена Витальевна

**Семантические изменения слова «дом»
в русском языке первых десятилетий XX века**

Специальность 5.9.5. Русский язык. Языки народов России

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание учёной степени кандидата филологических наук

Научный руководитель:
доктор филологических наук, доцент
В.В. Шмелькова

Пенза – 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Слово «дом» в русском языке и русской лингвокультуре второй половины XIX – начала XX века	12
1.1. Слово «дом» в системе ментально значимых понятий русской лингвокультуры	12
1.2. Русский язык конца XIX – начала XX века: социолингвистический и лингвокультурологический аспекты	26
1.3. Слово «дом» в русской лингвокультуре второй половины XIX – начала XX века	34
Выводы по Главе 1	40
Глава 2. Слово «дом» в лингвокультуре русского зарубежья	42
2.1. Язык литературы русского зарубежья как продолжение художественных традиций XIX века	42
2.2. Слово «дом» в языке литературы русского зарубежья	52
2.3. Мотив и мотивный анализ как метод филологического исследования	65
2.4. Ключевые мотивы в описании дома в лингвокультуре русского зарубежья ..	74
Выводы по Главе 2	84
Глава 3. Слово «дом» в русской лингвокультуре советского периода (первая половина XX века)	89
3.1. Русский язык революционной эпохи как отражение социокультурных изменений в русском обществе	89
3.2. Слово «дом» в лингвокультуре советского периода (первая половина XX века)	106
3.3. Ключевые мотивы в описании дома в русской лингвокультуре советского периода	123
Выводы по Главе 3	148
Заключение	151
Библиографический список	162
Приложение 1	180
Приложение 2	183

Введение

Национальный язык отражает не только значимые процессы духовной культуры, но и особенности экономического и научного становления, бытовой и общественной жизни этноса, что особенно ярко проявляется в словарном составе языка. «История лексики тесно и органически связана с историей производства, быта, культуры, науки, с историей общественных мировоззрений» [Виноградов 1953: 18].

На развитие языка оказывают влияние масштабные духовно-культурные и общественно-исторические процессы, личное литературное творчество писателей и поэтов, литературных критиков и публицистов. «Индивидуальная инициатива, личное творчество играет огромную роль в истории слов» [Виноградов 1994: 627]. Рассмотрение состояния языка в культурно-историческом контексте невозможно без глубокого исследования текстов, написанных на этом языке, включая тексты художественной литературы, отражающие духовно-бытовую культуру народа, преломлённую через восприятие конкретного автора, который является носителем этой культуры в тот или иной исторический период.

Будучи продуктом общественно-исторического развития, язык хранит своеобразный культурный код, в котором отражаются основополагающие духовные ценности каждого этноса.

Базовыми ценностями духовной культуры народа и языкового общественного сознания являются семья и дом. Перемены в социально-политической жизни неизменно приводят к изменению семантики слова, появлению новых компонентов значения.

Степень научной разработанности проблемы. В русской филологической науке последних десятилетий неоднократно исследовались вопросы семантики слова «дом»: проблема концептуализации «эстетики» быта [Корнейчук, Скнар 2018]; рассматривался образ дома в русской литературе первой половины XX в. [Жулькова 2019]; исследовалась проблема изменения семантики понятия «дом» в аспекте словесного воплощения концепта «дом/родина» в поэзии и прозе русского зарубежья первой волны [Габдуллина 2004], [Polechina 2012]; [Морараш

2017]; на материалах русской эмигрантской прессы [Зеленин 2007]; в аспекте семантической трансформации «квартира-дом» в русской литературе 1920–1930-х годов [Кувшинов 2016]. Дом как концепт-артефакт описан в работах В.А. Масловой [Маслова 2004], история изучения этого концепта представлена в исследованиях Потпот Р.М. [Потпот 2013]. Концепт «дом» рассматривался в национально-культурном контексте его развития [Соколова 2008], в смысловой организации Петербургского текста русской литературы [Шурупова 2010], в индивидуально-авторской картине мира Л.Н. Толстого [Ланская 2005], М.И. Цветаевой [Фещенко 2005], А.А. Ахматовой [Базылова 2009], в прозе А.И. Куприна периода эмиграции как маркер оппозиции [Иконникова 2012], вопросы языковой реализации концепта «дом» в произведениях В. Маканина, В. Распутина раскрываются в исследованиях Д.Р. Валеевой [Валеева 2011].

Наше видение проблемы близко к рассмотрению дома как лингвокультуры. По мнению В.В. Воробьёва, лингвокультура вбирает в себя, аккумулирует в себе как собственно языковое представление («форму мысли»), так и тесно и неразрывно связанную с ним «внеязыковую, культурную среду» (ситуацию, реалию), – устойчивую сеть ассоциаций, границы которой зыбки и подвижны [Воробьёв, 2008: с. 48-49].

Как фрагмент русского языка и русской лингвокультуры дом отражается в языковом сознании общества в виде ассоциаций, формируемых в процессе практической, когнитивной и коммуникативной деятельности носителей языка. Подобные ассоциации проникают в повседневный речевой обиход, в устную и письменную речь и сохраняются в них.

Таким образом, настоящая работа посвящена описанию и исследованию слова «дом» (домашний очаг) в русском языке на основе анализа текстового материала художественных произведений русских писателей, живших в России и за рубежом, в эмиграции.

Дом занимает важное место в структуре ментально значимых понятий русской лингвокультуры, поскольку соединяет индивидуальное (человек как личность) и общественное (семья, народ), материальное (жилище, быт,

собственное пространство) и духовное (радость, любовь, святость, душа). В многообразии своих значений слово «дом» может как противопоставляться, так и отождествляться с феноменами мир, свои – чужие.

В значении «место жизни человека» слово «дом» сближается со словом родина. Отсутствие дома формирует семантическую основу понятий бездомье, странничество и изгнание, что особенно наглядно проявилось в текстах художественной литературы первой половины XX в.

Взаимосвязь слов *дом, свет, тепло, уют* наиболее полно отражается в текстах русской художественной литературы конца XIX – начала XX в. в виде мотивов.

Проблема изучения мотивов в языке художественной литературы широко представлена в исследованиях отечественных и зарубежных учёных, таких как В.Я. Пропп, Б.И. Ярхо, В.Б. Шкловский, Б.В. Томашевский, А.Л. Бем, А.Н. Веселовский, Б.М. Гаспаров, А.К. Жолковский, Ю.М. Лотман, Ю.С. Степанов, В.С. Елистратов, А.И. Белецкий, Е.М. Мелетинский, Б.Н. Путилов, И.В. Силантьев, В.И. Тюпа, В.Е. Хализев, А. Дандес, С. Томпсон, Я. ван дер Энг.

Актуальность. Исследование является актуальным с точки зрения описания изменений в русской лингвокультуре, отразившихся на состоянии русской лексики XX века. Изменения, связанные с историческими, культурными, социально-политическими и экономическими преобразованиями, вызывают необходимость их изучения, описания и всестороннего анализа.

Выбор языка художественной литературы как материала исследования позволяет сделать важные выводы о состоянии русского языка в определённый период его развития. Как считает В.В. Воробьёв, источником лингвокультурем «могут быть литературные произведения как вторичные моделируемые системы, в которых нашла художественное отражение русская национальная личность (типы и образы)» [Воробьёв, 2008: с. 57].

Актуальность исследования определяется также следующими положениями:

1. Культурно значимое слово «дом», выбранное для исследования, является одним из символов национальной идентичности, самоопределения и стабильности.

2. В данной работе исследуются диахронические изменения русского языка и русской лингвокультуры, в то время как основным подходом к изучению языковой картины мира на современном этапе является синхронический.

3. Выбранный исторический период позволяет рассматривать как дореволюционный этап стабильности национальных ценностей, так и время коренных переломов в общественном сознании, процесс адаптации к переменам. Кроме того, выбор русской эмигрантской среды позволяет наблюдать явление воссоздания утраченных ценностей на почве другой культуры, трансформации этих ценностей.

4. Анализ художественного текста через выявление мотивов (мотив благополучия, преемственности поколений, предчувствия утраты и др.), применяемый к исследованию лингвокультуры *дом*, позволяет сделать значимые выводы об изменениях в языковом сознании представителей Советской России и русского зарубежья, отразившихся в русском языке.

Теоретическую базу исследования составили труды по:

- лингвистике и филологии (С.И. Карцевский, Р.О. Шор, А.М. Селищев, С.И. Бернштейн, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, Ю.А. Бельчиков, Л.М. Грановская, А.В. Зеленин, Ю.С. Степанов, В.С. Елистратов);

- лингвокультурологии (В.В. Воробьёв, В.М. Шаклеин, О.С. Чеснокова, С.С. Микова, Л.В. Моисеенко);

- когнитивной лингвистике (Е.С. Кубрякова, В.А. Маслова, Ф.Г. Самигулина);

- истории русского литературного языка (М.В. Иванова, М.С. Милованова);

- языку художественной литературы (М.Л. Новикова, М.И. Киосе);

- лексической семантике (В.Н. Денисенко, Т.В. Маркелова);

- философии (Д.С. Лихачёв, В.В. Розанов, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев).

Цель работы заключается в описании и исследовании слова «дом» в период с 1917 по 30-е годы XX века через анализ текстов художественных произведений писателей-свидетелей революционных событий.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие **задачи**:

1. Описать и проанализировать содержание слова «дом» в русском языке и русской лингвокультуре дореволюционной России, Советской России в период с 1917 по 30-е годы XX века и русского зарубежья этого же времени.

2. Рассмотреть формы и способы лексической презентации слова «дом» в текстах русской художественной литературы.

3. Выявить семантические компоненты слова «дом» (домашний очаг) с использованием мотивного анализа; определить основные мотивы, характерные для этих понятий.

4. Проанализировать способы вербализации понятия «дом» в художественной литературе Советской России с 1917 по 30-е годы XX века и русского зарубежья того же времени.

5. Выявить сходства и различия в системах мотивов, используемых для описания слова «дом» в художественных текстах писателей-свидетелей революционных событий, живших в Советской России в период с 1917 по 30-е годы XX века и русском зарубежье в это время.

6. Проанализировать перемещения пластов лексики, а также отдельных лексических единиц из активного фонда русского языка в пассивный и из пассивного в активный, связанные с изменениями в русской лингвокультуре в этот период.

Методы исследования. Необходимость решения обозначенных задач обусловлен выбор комплексной методики исследования, включающей описательный метод, основанный на анализе словарных дефиниций, метод лингвостилистического и лингвокультурологического анализа текстов художественной литературы, сравнительно-сопоставительный метод, а также метод мотивного анализа художественного текста, метод сплошной выборки.

Выдвигаемая **гипотеза** заключается в следующем: семантические изменения такого ключевого понятия русской лингвокультуры, как дом на стыке двух исторических эпох – дореволюционной и постреволюционной – социально обусловлены и представлены как переломный момент российской истории в языке художественной прозы и мемуарной литературы первой половины XX века.

Объектом исследования является семантика лексики, объединённой понятием «дом» в русском языке в годы революции и первые постреволюционные десятилетия.

Предметом исследования является изменение семантики слова «дом» в языковой картине мира Советской России и русского зарубежья в период с 1917 по 30-е годы XX века.

Материалом для исследования послужили определения слов «дом», «домашний очаг», представленные в основных толковых словарях русского языка [Даль 2002; Ушаков 2008; Ожегов, Шведова 2012 и др.]; тексты художественных произведений «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака, «Белая гвардия» М.А. Булгакова, «Тёмные аллеи» И.А. Бунина, «Лето Господне» И.С. Шмелёва, «Детство Никиты» А.Н. Толстого, «Самоубийство» М.А. Алданова, «Вечер у Клэр» Г.И. Газданова; мемуарная проза Л.Е. Белозерской-Булгаковой, А.Б. Мариенгофа, И.В. Одоевцевой (всего было проанализировано более 120 фрагментов текстов художественных произведений, включающих 310 словоупотреблений).

Основные положения, выносимые на защиту:

1. В текстах русской художественной литературы первой половины XX века в Советской России и за рубежом отражено изменение понятий «дом», «домашний очаг» в русском языковом сознании этого времени.

2. В художественной прозе писателей, которые были свидетелями революционных событий и жили в период с 1917 по 30-е годы XX века в Советской России и за рубежом, понятие «дом» представлено через комплекс мотивов благополучия, преемственности поколений, предчувствия утраты, фантасмагоричности.

3. Элементы, возникшие в семантике слова «дом» после революции в языковом общественном сознании Советской России в период с 1917 по 30-е годы XX века и русского зарубежья этого времени в сравнении с дореволюционным временем, не всегда являются тождественными.

Достоверность и обоснованность результатов исследования подтверждается анализом обширной теоретической базы по теме исследования, отбором материала, проанализированного в практической части исследования, а также апробацией посредством обсуждения на конференциях различного уровня и публикации в рецензируемых научных журналах и изданиях.

Научная новизна работы состоит в том, что:

- впервые проведён анализ изменения семантики слова «дом» на основе исследования лексического материала с точки зрения различных смыслообразующих мотивов и сопоставления отдельных участков лингвокультуры Советской России и русского зарубежья на фоне революции и в первые послереволюционные десятилетия;

- продемонстрирован потенциал мотивного анализа при выявлении и описании семантических трансформаций в структуре лексических единиц, а также изменений во фрагментах языковой картины мира;

- выявлены особенности вторичной репрезентации картины мира представителями эмигрантских общин и языкового сознания человека в новых культурных условиях.

Теоретическая значимость состоит в определении форм и способов функционирования слова «дом» и связанных с ним лексических единиц в русской художественной литературе первой половины XX века; уточнении понятия *мотив* в процессе анализа языка художественного произведения. В диссертации представлено определение понятия *мотив*, выполняющего важную функцию в организации художественного текста.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования материалов, содержащихся в диссертации, в подготовке и проведении занятий по лингвокультурологии, социолингвистике,

лингвострановедению, в практике преподавания русского языка как родного, как иностранного. Многоаспектное описание мотивов может быть использовано в справочных целях и в дальнейших исследованиях по проблемам мотивного анализа языка художественной литературы.

Апробация работы. Основные положения диссертации были изложены на Международной научно-практической конференции «Русский и иностранные языки: инновации, перспективы исследования и преподавания в вузах Таджикистана» (г. Душанбе, 2020 г., 2021 г.), VII Международной научно-практической конференции иностранных студентов (г. Пенза, Пензенский государственный университет, 14 декабря 2018 г.), V Международной научно-практической конференции «Русский язык как иностранный: проблемы функционирования и методики преподавания на современном этапе» (г. Пенза, Пензенский государственный университет, 4-6 октября 2018 г.), Международной научно-практической онлайн-конференции ИндАПРЯЛ «Русистика в мировом пространстве: традиции и перспективы» (Индия, Нью-Дели, 16-17 октября 2020 г.), Международной научно-теоретической конференции «Перспективные направления современной лингвистики» (г. Москва, Российский университет дружбы народов, 15-16 октября 2020 г.), Международной научно-практической конференции «Новое и традиционное в переводоведении и преподавании русского языка как иностранного» (Босния и Герцеговина, г. Баня-Лука, Панъевропейский университет «Апейрон», 4-7 марта 2021 г.), Международной научно-практической конференции «Современные исследования в области русского языка как иностранного» (г. Пенза, Пензенский государственный университет, 18-19 мая 2021 г.), XIX Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных с международным участием «Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания: традиции и инновации» (г. Москва, Российский университет дружбы народов, 15 апреля 2022 г.), Международной научно-практической конференции, проведенной в рамках I Международного лингвокультурологического форума «Лингвокультурология и коммуникативная реальность XXI века: новые вызовы – новое осмысление»

(г. Москва, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 19-20 октября 2023 г.), XX Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания» (г. Москва, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 19 апреля 2024 г.), Международной научно-практической конференции «Лингвокультурологические чтения», проведенной в рамках II Международного лингвокультурологического форума «Лингвокультурология в эпоху инноваций: ожидания и возможности, модели и практики» (г. Москва, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, 3-5 октября 2024 г.).

Объём и структура работы. Структура, содержание и объём диссертационного исследования определяется сформулированной целью и поставленными задачами. Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, библиографического списка, двух приложений. Общий объём текста составляет 179 страниц.

Глава 1. Слово «дом» в русском языке и русской лингвокультуре второй половины XIX – начала XX века

1.1. Слово «дом» в системе ментально значимых понятий русской лингвокультуры

Язык – основа и отражение культуры народа, его представления о мире, его социально-исторического опыта. «Язык есть условие и продукт культуры, культуры носителей конкретного языка <...> идеальная сторона языка, его семантика (т.е. в том числе и «картина мира»), и система коннотаций, и метафорика, и система образно-художественных средств), а также сам состав лексики, фразеологии и более того – синтаксический строй речи (устной и особенно – письменной) – всё это определяется актуальными культурно-историческими условиями, обстоятельствами и задачами социального бытия народа – носителя данного языка» [Бельчиков 2003: 274].

Исследование языка невозможно вне культурно-исторического контекста, так как язык есть «условие и продукт человеческой культуры» [Винокур 1959: 210]. Язык должен рассматриваться как результат исторического развития этноса и как способ кодирования культуры, её сохранения через поколения: «Развитие русского литературного языка неразрывно связано с развитием духовной культуры русского общества. Изучение литературного языка сопряжено с историческим изучением развития национальной культуры» [Виноградов 1978: 217].

Исследуемый нами период отличается сложнейшими преобразованиями многих сторон российской жизни. Изменения, происходившие в России в 1920–30-е годы, коснулись политического устройства страны, её экономики, бытовых традиций и т.п. Можно говорить о некоторой смене культурного фона, трансформации национальных ценностей, что находило отражение в языке.

К основополагающим понятиям русской культуры следует относить *мир* (окружающая среда, действительность) и *ментальный мир* (культурное, языковое и индивидуальное сознание). Наиболее значимые компоненты ментального мира

включают следующие понятия *время, сущность, бытие, вера, воля, любовь, радость, надежда, слово, правда и истина, знание и наука, страх и тоска, грусть и печаль, душа, дом, вечность, святость и грех, закон, свои и чужие* и т.д. [Воробьёв 2008], [Маслова 2004], [Степанов 2001].

Следует отметить, что слово «дом» является конкретным существительным в ряду абстрактных имён. С этим можно связать нечто основательное, устойчивое, что включено в семантику исследуемой лексемы.

Очевидна неразрывная связь лингвокультуры *дом* с другими константами русской культуры: *тепло и уют, любовь и радость, свет и темнота*. «дом неразрывно связан с такими значимыми социокультурными понятиями как *отцы и дети, семья и душа, свои и чужие*» [Макарова 2022: 52]. На когнитивном уровне дом противоположен *бездомью, странничеству и изгнанию*. «дом – сакральное место, константа национальной ментальности, миромоделирующее ядро, символ самого человека» [Жулькова 2019: 194].

Таким образом, представляя собой совершенно конкретное жизненное устройство, *дом* имеет многоаспектное символическое значение (*домашний очаг*).

В.А. Маслова выделяет три аспекта, формирующие семантику слова «дом» – строение, жильё, люди и семья, живущие вместе, – и отождествляет дом с личностью человека, его внешней оболочкой и внутренней сущностью: «дом – это внутреннее, обжитое человеком пространство мира, окружённое хаосом, это как бы двойник человека <...>. Это раковина, к которой прирос человек, поэтому в него мы возвращаемся, как заколдованные» [Маслова 2004: 235].

Основу понимания слова «дом» в русской лингвокультуре составляет идея его безопасности и защищённости живущих в нём людей. Например, Ю.М. Лотман противопоставляет *дому* в значении «своё, безопасное, обжитое пространство» *лес* как чужое, опасное, дьявольское пространство» [Лотман 1994: 143]. Защиту как основную функцию дома в языковом сознании общества выделяют также Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров [Верещагин, Костомаров 1990: 201].

В значении «частное замкнутое пространство, ограждённое от внешнего мира» [Маслова 2004: 235], *дом* семантически наиболее близок к лексемам *тепло, уют, свет*. «Тепло и свет – неизменные ассоциативные спутники домашнего очага» [Макарова 2022: 52]. Огонь в печи или камине – обязательные элементы уюта, создающие и поддерживающие ощущение человека, что он находится дома, в безопасности.

Свет и огонь сакральны для русской лингвокультуры: «Если бы мы не знали, что божества огня и света занимали важное место в языческих верованиях славян, то могли бы убедиться в этом по большому количеству слов, имеющих в своей основе представление огня и света» [Потебня 1914: 7]. Слова *свеча, камин, костёр, очаг, солнечный и лунный свет*, а также цветовые ассоциации *жёлтый, золотой, серебряный* можно отнести к наиболее частотным символам, связанным с огнём и светом в художественной литературе. Именно эти лексемы создают образ светлого, тёплого и уютного дома. «В русском понятии *уют* присутствует семантический и психологический компонент – ощущение своего, своего дома <...>, нахождения у себя, домашности» [Степанов 2001: 807]. Очевидны также и ассоциации слова *уют* с гармонией внутреннего убранства, создающей чувство умиротворения: «Полуденное солнце, пробираясь сквозь занавесы, опущенные на раскрытые окна и двери балкона, наполняло комнату мирным полусветом. Гармония и глубокое спокойствие целого отозвались благотворно в больной душе моей» [Пассек 1963: 76].

Важно отметить, что в русской лингвокультуре понятия «свет» и «святость», «светлый» и «святой» очень близки и часто отождествляются, являясь синонимами в определённых контекстах. Ю.С. Степанов определяет слово «святой» следующим образом: 1) относящийся к истинному Богу или к человеку, отмеченному божьей благодатью: «праведный», «непорочный», «живущий по правилам, предписанным христианской верой»; 2) относящийся к предметам, связанным с понятиями первой группы: *святая церковь, святая вода, святой крест, святые мощи*. Остальные значения переносные: «проникнутый высокими устремлениями или предназначением» – *святая лира поэта, святой долг, святое*

дело [Степанов 2001: 854]. В русском языке прилагательное *святой* стоит в одном синонимическом ряду со словами *незапятнанный, чистый, светлый, сияющий*. Эти определения часто используются при описании дома, что позволяет говорить о его сакральности в русской лингвокультуре.

Примечательно также и семантическое тождество лексем *свет* и *цвет*. По мнению Ю.С. Степанова, эти «слова, конечно, иного корня, чем «свят», но должны быть включены в это семантическое поле на основе принципа «синонимизации» концептов или на основе применяемого этимологами принципа «соединения корней» [Степанов 2001: 855].

В своём значении места, центра семейного очага *дом* соотносится с такими словами как *семья, любовь, радость, праздник*. Лингвокультурная доминанта «семья» во взаимосвязи с лингвокультуремой *дом* подразумевает неразрывную связь, взаимопонимание его обитателей, преемственность поколений, передачу опыта и семейных ценностей от старших к младшим.

«Духовная сопринадлежность человека к русской культуре наиболее ярко проявляется в семейной жизни, ибо «русский человек без родни не живёт», определяется её родственными отношениями» [Воробьёв 2008: 136]. Лингвокультурема *отец* в системе ментальных понятий, связанных с парадигмой *дом*, в аспекте семейно-родственных отношений зачастую характеризуется авторитарностью и доминирующей ролью в семье на правах главы рода, хозяина и кормильца. Лингвокультурема *мать* «наполнена богатым, волнующим содержанием» [Воробьёв 2008: 143], её определяет единственность («другой матери не будет»), беспредельной добротой и бескорыстной любовью. Семантика слов *отец* и *мать* выходит за пределы значения родства и ассоциируется с ментальными понятиями *отечество, отчизна, родина, дом*.

«Самое дорогое у русских – Родину называют матерью. Родина и Мать – понятия неделимые» [Воробьёв 2008: 144]. Лингвокультуремы *дед, прадед, бабушка, прабабушка* выражают связь поколений и ассоциируются с мудростью, духовным наставничеством.

Интересна семантика слова *брат*, выходящая за пределы значения прямого родства и характеризующая социальные отношения, основанные на общности интересов, социального положения, равенстве позиций. Лексема *сестра* отражает отношения дружбы, равенства, согласия, доверия.

«Фразеологизмы «лад в семье», «в доме лад» и их оппозиция «разлад в семье», глагол «ладить» также подчёркивают значимость взаимопонимания между домочадцами» [Макарова 2022: 53]. Губительно нарушение гармонии во взаимоотношениях не только по вертикали (между поколениями), но и по горизонтали (между супругами): «Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою гувернанткой, и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме» [Толстой 2002: 7]. В русской лингвокультуре лексемы *муж* и *жена* неразрывно связаны с понятием дом отношениями долга: «Муж дому строитель, нищете отгонитель», «Муж в дому, что глава на церкви», «Не наряд жену красит – домостройство» [Жуков 2009: 236].

Младенец, ребёнок занимает центральное место в семье и доме, являясь средоточием радости в самом себе и её источником для старших поколений: «обступали колыбель новорождённого и грелись возле него от усталости и ненастей жизни» [Петров-Водкин 1982: 102–104]. В произведениях, в которых повествование ведётся от лица ребёнка, изображён наиболее яркий и радостный образ семьи и детства: в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» Л.Н. Толстого, романе «Лето Господне» И.С. Шмелёва, повести «Детство Никиты» А.Н. Толстого. Преломляясь сквозь восторженный детский взгляд главного героя, семейно-бытовой уклад, домашний быт наполняется радостью и ощущением праздника. «Лингвокультурема *русская семья* – настолько серьёзная характеристика социального статуса русской национальной личности, что во многом определяет её восприятие жизни» [Воробьёв 2008: 139].

Идея любви как условия жизни семьи содержится во фразеологизме «жить в любви, мире, согласии». В русской культуре понятие *любовь* тесно связано с понятием «действие»: «глагол *любить* по своему происхождению и форме –

каузативный, т.е. означающий «вызывать в ком-либо или в чём-либо соответствующее действие» [Степанов 2001: 392]. Устаревшее наречие *любо* может пониматься как образ действия, так и как эмоциональное состояние человека, его умонастроение: «Хорошо, весело, любо!» [Жуков 2009: 394].

В семантической структуре слова *любимый* выделяют несколько значений, важных для понимания феномена *любовь* в русской лингвокультуре как необходимого условия существования дома: «приятный, ценный, надёжный, вызывающий доверие» [Степанов 2001: 395].

Итак, любовь, деятельностная по своей природе, взывает к эмоциональной сфере личности, воспринимается как ценность теми, кто её чувствует, ощущает. По мнению Ю.С. Степанова, любовь может восприниматься как результат «круговорота общения», «попеременной инициативы», «взаимного уподобления двух лиц». Она подразумевает следующее:

- сходство людей, взаимопонимание между ними;
- появление и развитие такого сходства в результате действий, поступков людей, живущих в общем доме.

Любовь проявляется и развивается в процессе межличностного взаимодействия людей, её испытывающих, но при этом может существовать и совершенно независимо как самостоятельное духовное явление – «плотная сущность <...> как нечто отдельное от человека, нечто, что можно хранить и лелеять» [Степанов 2001: 398]. Любовь в русской ментальности сближается с понятием *свет* (*светлое чувство любви*), что проявляется в традиционных ласковых обращениях: «свет мой ясный», «свет очей моих».

В русской речевой практике нередко используются выражение «счастлив тот дом, где живёт любовь», «в счастливом доме живёт радость». «В русской лингвокультуре понятия *дом*, *радость* и *свет* неотделимы друг от друга, что очевидно в устойчивом выражении «светлая радость», в литературном языке эта лексема часто персонифицируется: *радость рождается, живёт, растёт, просыпается* в душе или сердце человека; что даёт право рассматривать это

динамическое понятие как значимое для эмоционально-духовной жизни человека» [Макарова 2022: 54].

По мнению Ю.С. Степанова, в русском языковом сознании прилагательное *радостный* ассоциируется с лексемами «светлый, блестящий, отражающий свет, яркий» [Степанов 2001: 421]. *Радость, радостный* имеют чаще всего возвышенно-духовную стилистическую окрашенность (сопряжено с культурной константой *святость*), нежели чувственную или материальную (на данном семантическом уровне существует стилистически сниженный синоним *удовольствие*). Зачастую *радость* как внутреннее чувство противопоставляется *удовольствию* как внешнему физическому ощущению. Ю.С. Степанов определяет *радость* как «концепт явления, как бы распределённого между материальным объектом, средой и внутренним состоянием человека, <...> ощущение внутреннего комфорта, удовольствия бытия, возникшее в ответ на осознание (или просто ощущение) гармонии меня со средой» [Степанов 2001: 428]. В таком понимании *радость* соотносится с чувством человека, который находится в своём доме, ощущает его уют и защиту.

Понятие, близкое по семантике, но эмоционально более ярко окрашенное – *счастье* – также тесным образом связано со словом «дом». Счастье может пониматься как «чувство и состояние полного, высшего удовлетворения» [Ожегов 2012]. Философский словарь определяет *счастье* как «понятие, конкретизирующее высшее благо как завершенное, самоценное, самодостаточное состояние жизни; общепризнанная конечная субъективная цель деятельности человека» [Василенко 2013: 183]. В русской ментальности понятие *счастье* выступает как высшая («человек рождён для счастья, как птица для полёта» – М. Горький), но зачастую труднодостижимая цель жизни человека («звезда пленительного счастья» – А.С. Пушкин). «Наряду с понятиями *вера, любовь и радость, счастье* в русской культуре может рассматриваться в первую очередь как духовный феномен. Счастье в понимании Л.Н. Толстого («счастье есть удовольствие без раскаяния») наиболее близко к определению лингвокультуры

дом в духовно-нравственном аспекте. Семейное счастье (любовь, лад, мир) – его основа» [Макарова 2022: 54].

Существует тесная взаимосвязь между лингвокультурами *дом* и *мир*, и в одном из значений они противопоставляются, а в другом – взаимопроникают друг в друга: «соединение двух рядов представлений – «Вселенная, внешний мир» и «Согласие между людьми, мирная жизнь» – в одном исходном концепте постоянно встречается в культуре, это одна из констант культуры. Ядром этого соединения является концепт «Свои» в противопоставлении «Чужим, чужому» [Степанов 2001: 86]. В его понимании как защищённого убежища, противопоставленного враждебному миру, *дом* связан с семантической оппозицией «свои – чужие». При этом *мир* в значении «система мироздания как целое» ассоциируется в русской лингвокультуре с обжитым пространством, в котором живут *свои*. В таком понимании *дом* ограничивает личное пространство живущих в нём людей, сосредоточивая их бытие на себе, так и расширяется до границ огромного мира, отождествляясь с ним. Взаимосвязь лингвокультурем *дом* и *мир* отражается в русской классической литературе XIX века, а позднее – в прозе писателей-эмигрантов в эпизодах, рассказывающих об устройстве дома дореволюционного времени, его правилах и традициях, мире вещей и предметов, ассоциативно связанных с домом. *Мир* в его значении «согласие, покой, отсутствие вражды» семантически тождественен слову *лад* и определяет связь дома с ментальным понятием *семья* (о чём уже было сказано выше), что находит подтверждение в русской фразеологии («*Мир вашему дому*»).

В русской лингвокультуре понятие *мир* тесно связано с семантической оппозицией «свои-чужие». «При этом невраждебный мир – *свои* – отождествляется с понятием *свет* и употребляется в сочетании с традиционным цветовым эпитетом «белый свет», «по белу свету», «свету белому не рад». В своём понимании как защищённого убежища, противопоставленного враждебному миру, *дом* связан с понятием *свои* и противопоставлен лексеме *чужие*» [Макарова 2022: 55].

Разделение мира на *свой и чужой* ключевым образом определяет и во многом формирует самосознание личности и общества и определяет модель взаимодействия «человек и окружающая действительность». По мнению Ю.С. Степанова, «именно эти феномены – самосознание и стереотип поведения – составляют основу противопоставления понятий *свои-чужие*» [Степанов 2001: 128]. При этом именно *дом* – место, где живут *свои* – выступает своего рода критерием соотнесения объектов, субъектов и явлений окружающей действительности с тем или иным компонентом рассматриваемой оппозиции. То, что дарует ощущение себя «как дома», определяется как *своё*; те, кто живут под одной крышей, – *свои* (во фразеологии: *свои люди, свой народ, в кругу своих*). Примечательно, что определение некой общности людей как этноса основано на сходстве тех же явлений: самосознания и стереотипа поведения [Гумилёв; Кон; Поршнев]. Самосознание этноса есть «осознание некоторой группой людей самой себя как «своих» в отличии от «чужих» [Степанов 2001: 129]. «В подобном понимании социальные границы *дома* расширяются до *этноса* как большой семьи, а пространственные – до масштаба всей *страны*, ассоциируемой с ещё одним культурно значимым ментальным понятием – *родина, родная земля*» [Макарова 2022: 55].

Самосознание может выполнять не только функцию социализации и делить мир на своих и чужих, позволяя человеку отнести себя к определённому народу, но и, формируя чувство сопричастности к тому или иному этносу и той или иной стране, ассоциировать их с домом и считать своей родиной; но и функцию индивидуализации (осознание человеком себя как *личности*). «Поскольку русская культура общинна по своей природе, отделение личности от массы – зачастую достаточно болезненный процесс. Именно *дом* в значении «замкнутое пространство с определённым образом обустроенным бытом» позволяет очертить личные границы, отделить внутренний физический и духовный мир личности от внешнего» [Макарова 2022: 55].

На духовном уровне *дом* отождествляется с *душой* и *святостью*, которые являются самой надёжной опорой дома и жизни людей в нём. В.И. Даль

определяет понятие *душа* как «бессмертное духовное существо, одарённое разумом и волею; в общем значении: человек с духом и телом; в более тесном: человек без плоти по смерти своей; в смысле же теснейшем: жизненное существо человека, воображаемое отдельно от тела и от духа» [Даль 2022: 116]. В данном определении отражается взаимосвязь души, духа и тела как дома души. *Дом* как внутреннее ощущение человека (чувство дома, домашнего очага) ассоциируется с гармонией материального и духовного. «Именно поэтому так важен дом для каждого человека: потеря дома символически означает утрату связи души и тела, потерю связи мира внутреннего и внешнего» [Макарова 2022: 56].

Слово «дом» в русской лингвокультуре сакрально и неотделимо от понятия *святость*: «святым зовут вообще всё заветное, дорогое, связанное с истиною и благом» [Даль 2002: 593]. Традиционно в русском доме многое было связано со святостью в её религиозном понимании. «Место в доме, где располагались иконы, принято было называть *святым углом*. Домашний уклад основывался на постулатах христианства. В романе И.С. Шмелёва «Лето Господне» рассказывается, как быт традиционного русского дома был связан с христианскими праздниками, которые составляли годовой цикл жизни русского человека.

Именно религиозные праздники наиболее ярко отражают взаимосвязь понятий *дом* и *святость* в русской лингвокультуре: «Под большие зимние праздники был всегда, как баня, натоплен деревенский дом и являл картину старинную <...> в углах перед золочёными и серебряными окладами икон зажигали лампы и свечи, все же прочие огни тушили. К этому часу уже темно синела зимняя ночь за окнами, и все расходились по своим спальным горницам. В доме водворялась тогда полная тишина, благоговейный и как бы ждущий чего-то покой, как нельзя более подобающий ночному священному виду окон, озарённых скорбно и умирительно» [Бунин 2019: 12–13].

Неоспорима в языковом сознании общества ассоциативная связь «дом – храм»: «Разновидность дома – храм, дом для Бога. Испокон веку

храмостроительство имитирует космогоническое свершение, а сами храмы в миниатюре олицетворяют мирозданье» [Маслова 2004: 237]. Восприятие *дома* как очага *святости* объединяет и другие связанные с ним ментальные понятия: *семья, любовь и радость, душа*.

«Связующая роль во взаимодействии ментальных понятий, связанных с *домом*, принадлежит культурному феномену *гармония: дом* есть гармония внешнего и внутреннего убранства, бытового уклада, семейных отношений и окружающего мира. Гармоничное домашнее пространство составляет основу благополучия личности, что и именуется счастьем» [Макарова 2022: 56].

Дом как организующий центр мира в русской лингвокультуре характеризуется определением *родной: родной очаг, родная изба*. «Это центростремительный перекрёсток всех жизненных путей человека, сходящихся у родного очага. Родной дом – это первая вселенная человека, объединяющая его воспоминания, мысли, мечты и тем самым организующая связь времён» [Маслова 2004: 235].

Отсутствие дома создаёт семантическую основу понятий *бездомье, странничество, изгнание*. «Значимой страницей русской культуры явилась последовавшая за революцией 1917 года эмиграция из страны большого количества людей. В среде русских в изгнании отчётливо проявился важный феномен: сохранение и интенсификация образа дома в понимании «свое жилище», «благоустроенный быт», «родина» в сознании при их отсутствии в окружающей реальности» [Макарова 2022: 56].

Реставрация всего привычного и ценностно значимого, что составляло образ дома в сознании эмигрантов, занимает ключевое место в творчестве писателей русского зарубежья (подробнее об этом – в Главе II, пунктах 3, 4). «Потеряв связь с домом в его материальном понимании, эмигранты стремятся сохранить и усилить связь с культурой и языком как главными атрибутами дома духовного» [Макарова 2022: 56]. При этом язык становится как структурным компонентом культуры, её продуктом, так и основополагающим фактором её существования и развития: «Отдельный язык есть индивидуальное и

неповторимое историческое явление, принадлежащее к данной индивидуальной культурной системе <...> Даже всецело оставаясь на почве одного языка, <...> мы уже изучаем тем самым соответствующую культуру, именно первую, и в известном отношении, может быть, самую важную главу её истории» [Винокур 1959: 211].

Культура и язык могут также рассматриваться как константы, близкие к лингвокультуре *дом* по принципу сопричастности к той части мира, которая воспринимается как *своё* в оппозиции к *чужое*. «Язык в отношении своего строения, своей лексики есть одна из важнейших сторон культуры, может быть, самая важная <...>, язык есть <...> зеркало, отражающее культуру» [Бицилли 1996: 158]. Язык и культура неразрывно связаны с семантическим полем *родное, родина*, и в языковом сознании неотделимы от понятия *дом*.

Итак, «в структуре лингвокультуры *дом* можно выделить три уровня: 1) пространственный (ограниченное помещение с благоустроенным бытом, в широком смысле – родная страна, мир), 2) социальный (взаимодействие общностей, различающихся по численному и структурному составу), 3) культурный (родной язык, родная культура). К характеризующим *дом* ментальным понятиям пространственного уровня относятся *уют* и семантически связанные с ним *тепло* и *свет*.

С социальной точки зрения *дом* связан с социокультурной доминантой *семья* как преемственная иерархичная взаимосвязь поколений, отцов и детей, супружеских взаимоотношений. С этим сопряжены такие ментальные понятия как *любовь, радость, мир* в значении *лад*. В более широком социальном понимании *дом* может рассматриваться и как этнос, в нашем случае – русский народ. В пространственном отношении *дом* расширяется до размеров страны и отождествляется с понятиями *родная земля, родина, Русь, Россия*, а порой и до размеров всего *мира*, сливаясь с ним. Все структурные уровни понятия *дом* пронизывает семантическая оппозиция «*свои-чужие*» [Макарова 2022: 57]. Определение *родной* выступает ключевой характеристикой лингвокультуры *дом* (родные стены, родная земля, родной отец, родная мать, родной язык, родная

речь, родная культура). «Парадигма «семья, семейство, родители, предки, родина, отечество» – вот что определяет духовное достоинство и гражданственность личности» [Воробьёв 2008: 139]. Ментальной противоположностью лингвокультурамам *дом* и *семья* выступают *бездомье, странничество, изгнание*. Слова «дом» и «семья» олицетворяют собой связь времён – прошлого, настоящего и будущего – через преемственность поколений его обитателей. В этом и состоит большая ценность русской семьи, её духовности. «Обладая существенным лингвокультурологическим потенциалом, парадигма «дом и семья» раскрывает роль и место национальной личности в системе общественных и родственных отношений» [Воробьёв 2008: 139].

Особенно значима для данного исследования связь понятий *дом, язык и культура: дом* – ключевое ментальное понятие сознания индивидуального и общественного, формируемого под воздействием национальной культуры. «Язык как знаковый компонент культуры одновременно и отражает сознание, и отражается в нём. Изучение лингвокультуры *дом* невозможно вне культурного и лингвистического контекста» [Макарова 2022: 57]. Таблица 1 иллюстрирует содержание лингвокультуры *дом* в русском языке.

Таблица 1. Содержание лингвокультуры *дом*

<i>Пространственный уровень</i>	
домашний очаг	родина
<i>Социальный уровень</i>	
семья	народ
<i>Культурный уровень</i>	
язык	культура

Таким образом, содержание лингвокультуры *дом* в русском языке выходит далеко за пределы основного лексического значения слова «дом» (жилище) и распространяется на объединение ассоциативно связанных лексических единиц. Семантическое поле *домашний очаг* включает в себя *тепло, свет, семья, уют, радость, счастье, святость, душа, родина, родной язык,*

родная культура. Именно в таком прочтении лингвокультурема *дом* будет рассматриваться в следующих параграфах нашего исследования.

1.2. Русский язык конца XIX – начала XX века: социолингвистический и лингвокультурологический аспекты

Как было сказано в предыдущем параграфе, *дом* – ключевая ментальная единица русской лингвокультуры, многогранный феномен, включающий в себя индивидуальное и общественное, материальное и духовное. Анализ изменений, произошедших в лингвокультуре *дом*, и причин, повлиявших на эти изменения, невозможен без рассмотрения особенностей исторического развития языка в исследуемый период, описания языковой ситуации в России этого времени.

Однако во многом процессы в русском языке послереволюционного времени связаны с периодом конца XIX – начала XX века. Рассмотрев их, можно понять причины и сущность семантических изменений некоторых лексических единиц русского языка послереволюционного времени.

Последние десятилетия XIX – начало XX в. – значимый этап в развитии русского языка, обусловленный сложными социально-политическими, экономическими и лингвокультурными процессами. Все значимые политические и общественные явления того времени нашли своё отражение в словарном составе языка, основной особенностью которого на тот момент являлась социальная маркированность лексики как лингвистическое выражение имущественной и социокультурной неоднородности различных слоёв общества в стране.

Семантика некоторых общественно-значимых, частотных в употреблении слов, изменилась в зависимости от того, в какой сфере они употреблялись. Так, слово *патриот* в демократической печати конца XIX – нач. XX в. приобретает негативный оттенок значения: патриот начал восприниматься как сторонник монархизма. Каких единиц коснулись эти изменения? В первую очередь следует назвать слова, обозначающие лиц по социальному признаку (представители сословий, общественных групп и т.п.). Слово *интеллигент* и производные от этого слова в официальной прессе также часто имели отрицательную стилистическую окраску. В.В. Розанов даёт следующее толкование этому понятию: «интеллигентность – это, правда, нечто «духовное», но это бедно-

духовное; это бедность именно в самом духовном, какое-то умственное мещанство» [Розанов 1899: 220]. О некоторой бездуховности интеллигенции говорит и Е.Н. Трубецкой: «Мышление, изверженное из царства, потустороннее религии, неизбежно остаётся «интеллигентским» в дурном значении этого слова, т.е. рассудочным, бессодержательным» [Трубецкой 1914: 44]. В эмиграции окончательно разграничились значения слов *интеллигенция* и *образованное общество*. С.М. Волконский писал: «Четыре основных признака определяли «интеллигента»: 1) обладание учебным дипломом; 2) оторванность от родной почвы; 3) отрицательное отношение к церковному началу; 4) отрицательное отношение к русской власти. Кто сознавал, что имеет общим с этими людьми лишь 1-й пункт, не мог причислить себя к интеллигенции» [Цит. по: Грановская 2005: 42-43].

После Октябрьской революции 1917 года семантика этих слов также неоднократно претерпевала изменения и в языке русской эмиграции, и в «советском» языке.

Активное развитие публицистики и повышение её роли в общественной и культурной жизни приводило к изменению семантики не только социально обусловленных понятий «буржуазия», «мещанин», «интеллигент», но и нейтральной лексики.

Много споров среди лингвистов, литераторов и общественных деятелей того времени вызывали и многочисленные иностранные заимствования, проникавшие в русский язык в конце XIX и XX вв. При этом многие заимствованные слова также были социально маркированы и их оценка зависела от сословного контекста их использования.

Появляясь изначально в языковом сознании представителей высших сословий, заимствования, обозначавшие социально-бытовые явления, со временем входили и в речевой обиход менее образованных слоёв населения, зачатую меняя при этом свою семантику и стилистическую принадлежность. «В городах необразованный и полуграмотный класс любит, без всякой надобности, щеголять иностранными словами и вместо всем известных русских

слов употребляет, например, фриштык, фартук, персоне, куверт, партикулярный» [Грот 1873: 22].

Слова, обозначавшие гендерную принадлежность и употреблявшиеся как уважительное обращение к женщине, стали впоследствии просторечными названиями профессий: *мамзель* (гувернантка), *мадама* (владелица модной мастерской). «В таком выражении, как «не барышня, а так, какая-то мамзель» слово завершает эволюцию своего смысла в обратную сторону» [Шор 1926: 126].

Активное заимствование слов из иностранных языков подвергалось резкой критике со стороны многих лингвистов. Некоторые учёные призывали к поиску соответствия исконно русских слов иностранным в художественной литературе и замене ими иностранных заимствований. С критикой активного процесса заимствования иностранных слов выступал и Я.К. Грот: «Наш образованный язык слишком злоупотребляет лёгкостью заимствования иностранных слов: на писателях лежит прямой долг стараться о замене их по возможности русскими» [Грот 1991: 62]. Вследствие калькирования слов и словосочетаний появились следующие клише: *оставить свой пост, город, место жительства*.

Галлицизмы имели важное значение для лексической системы русского языка в XX веке, что во многом определялось экстралингвистическими факторами. В конце XIX – начале XX вв. русский язык активно заимствовал французские слова и словосочетания.

Противоположной неумеренному заимствованию иностранных слов явилась тенденция к активизации архаической лексики в официальной публицистике, что во многом объяснялось «воскрешением славянофильских традиций: русско-турецкая война, события на Балканах способствовали подъёму патриотических настроений в России, осознанию ею связи со всем славянским миром» [Грановская 2005: 53]. Всё чаще в публицистике и художественной литературе того времени стали появляться слова с общеславянскими корнями и церковнославянская лексика (например, *здравница* вместо *санаторий*).

При этом для системы языковых норм, сложившихся к началу XX в., характерна стилистическая градация лексических единиц и грамматических форм,

ограничение сферы их употребления. «Славянизмы *насущный, изящный, хищный* исключительно употребляются в литературной речи, <...> глаголы *изострить, испестрить* в несовершенном виде принимают у нас церковнославянскую форму: *изоощрять* (в отвлечённых значениях), *испеощрять*, которая сообщается и причастиям: *изоощрённый, испеощрённый*» [Чернышев 1970: 446-447].

С появлением в дореволюционной России парламентаризма в публицистическом и политическом дискурсах возникает оппозиция *правые – левые* и связующее звено – *центристы*. В «Настольном словаре для справок по всем отраслям знаний» Ф. Толля встречаем следующее определение: «Правые стороны – в палатах так назыв. приверженцы рутинного порядка и враги реформ, занимающие обыкновенно места по правую руку президента; Левая сторона – на языке парламентск. – первоначально озн. оппозицию, после либеральную или радикальную партию, ибо члены этих партий по большей части принадлежали к оппозиции». Понятие «центр» в политическом дискурсе того времени обозначало «средний», «промежуточный» [Толль 1863: 583].

Ещё до революции 1917 года в русском языке слово *красный* приобрело своё новое политическое звучание – «противопоставленный всему буржуазному, государственно-монархическому; нигилистический, крайне радикальный, вообще инакомыслящий» [Зеленин 1999: 85-88]. В противовес этому значению слова *красный* прилагательное *белый* обретает новое понимание – «свойственный приверженцам самодержавия (в противоположность революционерам, народникам и вообще демократам)» [Зеленин 1999: 85-88].

Важнейшим событием, определившим последующее развитие русского языка в XX веке, явилась реформа орфографии, что подразумевало следующее:

1. Упразднение символа ъ в конце слова.
2. Отказ от символов ъ, ѳ.
3. Замена ѣ на е в словах с двойким написанием: лекарь – лѣкарь, копейка – копѣйка.
4. Замена і на и.

Защитниками упрощенной орфографии были академик Е.Ф. Корш и педагог В.П. Шереметьевский, позднее уже в эмиграции – приват-доцент С.И. Карцевский, профессор А.Д. Григорьева.

После революции 1917 года реформа была продолжена директивами А.В. Луначарского и Совнаркома. Вся русская пресса печаталась по правилам старой орфографии до закрытия оппозиционных газет летом 1918 года.

Реформа орфографии, вызвавшая жаркие споры, определила возможность появления отдельной ветви русского языка в период после революции 1917 года – языка русского зарубежья (см. Параграф 2.1.).

Лингвистические тенденции, возникшие в конце XIX – начале XX века нашли отражение и в литературном языке. Начало XX в. – время расцвета русской материальной и духовной культуры, бурного развития различных форм искусства: музыки, живописи, литературы. «Русский литературный язык в начале XX в. пережил головокружительный взлёт в творчестве поэтов-символистов, изысканной прозе, философской эссеистике, литературно-художественной критике. Начало XX в. – расцвет русской культуры и русского языка» [Грановская 2005: 15].

На развитие литературного русского языка того времени оказали влияние как экстралингвистические факторы, так и внутриязыковые процессы, которые привели возникновению новых жанров и стилей, активному развитию и повышению значимости публицистических текстов в общественной жизни и, как следствие, смещению приоритетов с изящной словесности, характерной для первой половины XIX в., к демократизации литературной формы языка, что выражалось в проникновении разговорных вариантов в художественную речь, которая «всегда воплощала в себе некое представление об идеальной норме языкового выражения и, как бы ни изменялось это представление от эпохи к эпохе, осознание её высшей формой национального языка неизменно существовало в сознании его носителей» [Грановская 2005: 171].

Язык художественной литературы, по мнению многих исследователей, – особая форма литературного языка. В начале XX в. появляется символистский

роман – новая литературная форма с доминирующей фигурой автора-повествователя, рассказывающего о новых мирах, о жизни и смерти, бытии и небытии. «Во многих произведениях этого жанра действительность разворачивается, как маскарад, действие, где главные лица – маски» [Грановская 2005: 172].

Демократизация литературной формы языка проявилась в проникновении сниженной лексики, просторечий и диалектизмов в художественную речь, например, глаголы: *набуркаться, взгорькнуть, перхать, посмутить, отемнеть, скорябать, охлять, захрястнуть, подзатылить* и др., существительные: *чарома, цаплун, шкулета, охаверник, шкамарада, плещняк, ера, гундырка, глуздырь, омега, плеха, хряпка, шишимора* и др. [Грановская 2005: 174].

Важной тенденцией в развитии художественной прозы становится её сближение со стихотворной речью. «Художественная проза в начале века обращается к языку как «чистой структуре» – ритму, архитектонике, словесной инструментровке» [Грановская 2005: 176].

Вместе с тем в этот период языковые приёмы классической прозы не исчезают, а развиваются и усложняются, раскрывая авторское восприятие «через особые экспрессивные формы диалога и несобственно-прямую речь. Текст живёт сложными ассоциациями, образными связями» [Грановская 2005: 178-179].

Важную роль в лексической системе русского литературного языка в конце XIX – нач. XX вв. играют иностранные заимствования, в особенности из французского языка. Галлицизмы широко использовались писателями и поэтами модернизма. «И. Анненский, А. Блок, А. Белый горячо отстаивали дальнейшее развитие литературного словаря в этом направлении. Многие метафорические словосочетания (например, *мираж жасмина, эмфаза слов*) были сравнительно новыми в русской художественной речи и отличались своей «нерусскостью» на фоне ранних адаптаций» [Грановская 2005: 48].

В конце XIX – нач. XX в. многие из французских заимствований использовались авторами исключительно в стилистических целях для демонстрации дистанции между высшими кругами общества и другими

социальными группами. «Отражая в известной своей части сферу дворянского речевого обихода, многие из этих номинаций с самого начала несли отпечаток кастово-замкнутого употребления, были одной из форм выражения отчуждённости высшего круга» [Грановская 2005: 48]. Об этой функции галлицизмов в русском языке говорит и Н.А. Бердяев: «своеобразный французский язык русского братства есть русский национальный стиль, столь же русский, как и русский ампир» [Бердяев 1918: 37].

Французский язык не является более примером для подражания, его влияние на русский язык конца XIX – начала XX в. заметно снижается. Этот процесс сопряжён с архаизацией многих французских заимствований, перемещением их из активного словаря в корпус пассивной лексики: *адоратер* (обожатель, поклонник), *ферлакурить* (волочится, ухаживать), *лоретка* (кокетка), *пардесю* (накидка). Утрачиваются некоторые значения в семантической структуре многозначных слов: *антре*: 1) вход; 2) закуска перед обедом; *картуш*: 1) виньетка в начале или конце книги или главы книги; 2) вор, разбойник; *галопировать*: 1) ехать на лошади в галоп; 2) танцевать галопад. В слове *сеанс* исчезает значение «заседание» <...>. Слова *корреспондировать* и *корреспондент* сузили сферу своего употребления, ориентированную на семантику французского слова и на его сочетаемость: *корреспондировать*: 1) переписываться с кем-либо; 2) сообщать иногородные известия» [Грановская 2005: 50].

Таким образом, развитие русского языка в конце XIX – нач. XX в. шло по пути демократизации и упрощения орфографических и стилистических норм, обогащения словаря за счёт иностранных заимствований для наименования научно-технических новшеств, предметов и явлений быта и общественной жизни, но, вместе с тем, и сохранения в языковом сознании церковнославянской лексики. При этом лексический состав языка и семантика многих общеупотребительных слов были во многом социально дифференцированы. В языковом сознании возрастает роль общественно-политической лексики, активно развивается публицистика. Все эти изменения находят отражение и в языке художественной литературы.

Процессы, произошедшие в лексике русского языка второй половины XIX – начала XX века, затронули в основном лексику общественно-политического и социального характера, но не коснулись лексики, обозначающей личное окружение каждого человека. Изменения, вызванные социально-политическими событиями этого времени, затронули лишь общественные институты, но не повлияли на лексику, связанную с лингвокультурами *дом* и *семья*.

Лингвистические процессы, характерные для в этого исторического периода, по-разному будут развиваться в двух полярных ветвях русского языка: в Советской России и в русском зарубежье.

1.3. Слово «дом» в русской лингвокультуре второй половины XIX – начала XX века

Дом – одна из важнейших и интереснейших лингвокультурем. Она широко представлена в лексике русского языка, текстах русской художественной литературы. В словаре С.И. Ожегова даётся следующее определение слова «дом»: «дом – своё жильё, а также семья, люди, живущие вместе, их хозяйство; место, где живут люди, объединённые общими интересами» [Ожегов 2012: 167].

Это значение слова «дом» тесно связано с понятием, выраженным словосочетанием *домашний очаг*, под которым подразумевается «родной дом, семья» [Ожегов 2012: 466]. При этом *дом* может рассматриваться не только как конкретное жилище человека и его семейный, бытовой уклад (очаг), но и как страна в целом.

В произведениях русской классической литературы немало места уделено описанию дома, где живут персонажи, где жили их предки. Дом неизменно связан с детскими и юношескими радостями и переживаниями героев, воспоминаниями и надеждами. Как правило, у литературных героев в детстве есть свои любимые, иногда тайные места, уголки в доме.

Согласимся с мнением В.В. Воробьёва, А.В. Зеленина, что понятие «дом» является важнейшим для русской лингвокультуры, поскольку оно формирует пространственное представление человека о мире, разделяя его на «свое» и «чужое».

Считаем, что к важнейшим семантическим значениям этого слова относятся:

1. Личное жилое пространство, закрытое от посторонних и ограждённое;
2. Место рождения, жизни человека, его постоянного пребывания в определённый период;
3. *Своё* жилище человека, защищаемое и закрываемое им, в отличие от *чужого* пространства;
4. Центр семейного очага, центр притяжения человека;

5. Форма жилища, объединяющего членов семьи, родственников, место общения с близкими («своими») людьми (*семейный дом, фамильный дом, путевой дом*);
6. Пространство, где сосредоточены уют, тепло, комфорт, важные для конкретного человека;
7. Место эмоциональной привязанности человека;
8. Династия (*дом Романовых, царский дом, династический дом*);
9. Особые организации благотворительного характера (*ночлежный дом, сиротский дом, странноприимный дом, дом призрения*);
10. Семейное торговое предприятие (*дом купцов Елисеевых*);
11. Учреждение увеселительного типа (*питейный дом, дом терпимости, игорный дом*).

По причине высокой социальной, культурной и философской значимости лингвокультурема *дом* всегда являлась одной из ключевых в текстах русской классической литературы. Впервые она появляется в девятнадцатом веке и находит яркое отражение в творчестве А.С. Пушкина («Капитанская дочка», «Повести Белкина»), М.Ю. Лермонтова («Герой нашего времени», «Княгиня Лиговская», «Вадим»), И.А. Гончарова («Обрыв»), И.С. Тургенева («Вешние воды», «Первая любовь», «Дворянское гнездо»), Л.Н. Толстого (трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность», «Война и мир», «Анна Каренина»).

Дом в художественных текстах А.С. Пушкина выступает символом души её обитателей, их моральной чистоты; пробуждает ассоциации с умиротворением, покоем. Например, в повести «Барышня-крестьянка» дом, где живёт Лиза Муромская, полон света и радости, любви и нежности домочадцев друг к другу. В доме Берестовых (как и в самом жизненном укладе помещика Берестова, в последовательно соблюдаемых им собственных принципах) чувствуется надёжность и основательность семейных традиций.

М.Ю. Лермонтов становится одним из первых русских писателей, описывавших дом главных героев как совокупность мотивов, ключевым из которых становится одиночество в его позитивном восприятии. В

художественных текстах этого автора *дом* не ограничивается жилищем героев, а скорее направлен вглубь и представляет собой душу героя. В подобном понимании *дом* становится внутренним переживанием, не связанным с социальным окружением и внешними обстоятельствами, а отчаянный поиск дома и сопряжённое с ним одиночество есть извилистый путь к обретению душевной гармонии, чаще всего недостижимой для персонажа. При этом ключевым символом *дома* становится *огонь* как воплощение очага, жарких душевных терзаний, самой жизни и её божественного начала. Так, в незавершённом романе «Княгиня Лиговская» пылающий огонь в камине главной героини символизирует и её одинокий домашний очаг, и жар её души. В лингвистической репрезентации дома – часто меняющего пристанища Печорина – важным символом становится *окно* как воплощение связи мира внутреннего и внешнего: «Нынче в пять часов утра, когда я открыл окно, моя комната наполнилась запахом цветов, растущих в скромном палисаднике. Ветки цветущих черешен смотрят мне в окна, и ветер иногда усыпает мой письменный стол их белыми лепестками» [Лермонтов 2014: 73]. По мнению Т.И. Радомской, дом в творчестве Лермонтова олицетворяет диалектику земного и небесного» [Радомская 2006: 103].

Лингвокультурема *дом* в художественных текстах И.С. Тургенева представлена эстетизацией уютных интерьеров и процесса приёмов пищи: «Перед диваном, на круглом столе, покрытым чистой скатертью, возвышался наполненный душистым шоколадом, окружённый чашками, графинами с сиропом, бисквитами и булками, даже цветами, огромный фарфоровый кофейник; шесть тонких восковых свечей горело в двух старинных серебряных шандалах; с одной стороны дивана вольтеровское кресло раскрывало свои объятия» [Тургенев 2001: 157]. Позднее подобные ностальгические детальное описания роскоши домашнего очага мы встречаем в романе «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака, в рассказах И.А. Бунина, объединённых в сборник «Тёмные аллеи»; «Самоубийство» М.А. Алданова, «Лето Господне» И.С. Шмелёва (глава II, параграфы 3,4; глава III, параграфы 2,3).

В текстах художественных произведений Л.Н. Толстого лингвокультурема *дом* предстаёт «семейно-роевым началом», выступает основой преемственности русской лингвокультуры. В трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность» ностальгически репрезентируется тепло и уют родительского дома: «После молитвы завернёшься, бывало, в одеяльце, на душе легко, светло и отрадно. Потом любимую фарфоровую игрушку – зайчика или собачку – уткнёшься в угол пуховой подушки и любишь, как хорошо, тепло и уютно ей лежать» [Толстой 2020: 10]. Повествование от лица ребёнка мы позднее встречаем в произведениях «Лето Господне» И.С. Шмелёва» и «Детство Никиты» А.Н. Толстого (Глава II, параграфы 3,4).

Совсем иную репрезентацию лингвокультуремы *дом* мы встречаем в художественном тексте романа «Анна Каренина»: «Здесь Вронский показал им устроенную вентиляцию новой системы. Потом он показал ванны мраморные, постели с необыкновенными пружинами. Потом показал одну за другой палаты, кладовую, комнату для белья, потом печи нового устройства, потом тачки, которые не будут производить шума, подвозя по коридору нужные вещи, и много другого» [Толстой 2002: 638]. Схожая репрезентация лингвокультуремы *дом*, основанная на перечислении технических новинок быта, позже встретится в тексте художественного произведения «Самоубийство» М.А. Алданова (Глава II, параграф 4).

Мысль семейная занимает значимое место в повествовании («В «Анне Карениной» я люблю мысль семейную» [Толстой 1978: 502]), семья воспринимается как показатель социальных изменений, а семейные неурядицы – одновременно и причина, и следствие негативных перемен в общественном сознании, нарушения моральных норм и пренебрежения духовными ценностями.

Несчастливое супружество создаёт ощущение дискомфорта в домашнем очаге: «Не нравился самый дом их; что-то было фальшивое во всём складе их семейного быта» [Толстой 2002: 639]. Разлад в семье порождает беспорядок в доме: «Всё смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшею в их доме француженкою гувернанткой, и объявила мужу, что не может

жить с ним в одном доме <...>. Жена не выходила из своих комнат, мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому как потерянные; англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место; повар ушел еще вчера со двора, во время обеда; черная кухарка и кучер просили расчета» [Толстой 2002: 15]. Раздор супругов приводит к непониманию, нарушает уют домашнего очага, разобщает домочадцев.

Ранние произведения И.А. Бунина содержат описания дома, полного огромного чувства любви, нежности и некоторой ностальгии: «Войдешь в дом, и прежде всего услышишь запах яблок, а потом уже другие: старой мебели красного дерева, сушеного липового цвета <...>. Во всех комнатах <...> прохладно и сумрачно <...>. Всюду тишина и чистота» («Антоновские яблоки»), но при этом ключевые лексемы меняются: *тепло – прохлада, свет – сумрак*. В русской литературе начала XX века в традиционно положительном описании дома как символа благополучия и изобилия появляются сигналы грядущего разрушения и разорения: «Князь Шеин <...> едва сводил концы с концами. Огромное родовое имение было почти совсем расстроено <...>, а жить приходилось выше средств: делать приёмы, благотворить, хорошо одеваться» [Куприн 1985: 196].

Через образ цветущего сада в пьесе «Вишнёвый сад» А.П. Чехов одним из первых в русской литературе предсказывает неизбежную утрату дома, разрушение домашнего очага и вместе с этим – потерянную и одиночество человека в грядущую эпоху перемен. Судьба вишнёвого сада как одного из символов предреволюционной эпохи ассоциируется с судьбой как отдельных людей, так и всей России.

Итак, в художественной литературе описание дома в дореволюционное время связано со следующими аспектами:

- *Система устойчивых межличностных отношений*: «Когда я стараюсь вспомнить матушку <...>, мне представляются только её карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь» [Толстой 2020: 193].

- *Семейные традиции:* «Дети не только были прекрасны собой в своих нарядных платьях, но они были милы тем, как хорошо они себя держали» [Толстой 2002: 338].
- *Просторное и уютное жилое пространство:* дом был большой, старинный, и Левин хотя жил один, но топил и занимал весь дом. <...>. Это был мир, в котором жили и умерли его отец и мать. Они жили тою жизнью, которая для Левина казалась идеалом всякого совершенства и которую он мечтал возобновить с своею женой, с своею семьей» [Толстой 2002: 217].
- *Благополучный быт, его эстетизация:* «На четырёхугольном столе, покрытом чистой белой скатертью, уже находились прислонённые к стене небольшие образа в золотых окладах, с маленькими тусклыми алмазами на венчиках. Старый слуга поставил две восковые свечи в тонких подсвечниках» [Тургенев 2018: 79].
- *Незыблемые нравственные ценности, преемственность поколений:* «Детское чувство безусловного уважения ко всем старшим, и в особенности к папа, было так сильно во мне <...>, что стараться проникать в тайны его жизни было бы с моей стороны чем-то вроде святотатства» [Толстой 2020: 193].

Идея чистоты домашнего очага актуализируется белым цветом как символом аккуратности, уюта и красоты внешней и внутренней. Понятие *дом* вербализуется в литературе этого периода и световыми ассоциациями: *лампа, светильник, горящие свечи, пылающий камин:* «У Лизы горела свеча за белым занавесом <...>. Мелькнул знакомый облик, и в гостиной появилась Лиза. В белом платье, с нерасплетёнными косами по плечам» [Тургенев 2018: 63].

Свет и огонь в печи, камине – необходимые символы дома, домашнего очага, подчёркивающие тепло и уют этого пространства, связанные душой его хозяев, всех людей, которые там живут (или просто близких к этому пространству: соседи, приятели и друзья, родственники). Свет и огонь подчёркивают доброту и теплоту, божественное начало, живущее в каждом человеке, которые определяют его жизнь и жизнь его потомков. Окно в доме также символично связано со светом (один из источников света в доме), но оно ещё и поддерживает связь мира внутреннего и мира внешнего.

Выводы по Главе 1

Сказанное выше позволяет сделать следующие выводы: *дом* занимает значимое место в русской лингвокультуре, так как в нём объединяются индивидуальное (человек как личность) и общественное (семья, народ), материальное (жилище, быт, собственное пространство) и духовное (радость, любовь, святость, душа). В многообразии своих значений слово «дом» может как противопоставляться, так и отождествляться с феноменами *мир, свои – чужие*.

В значении «место жизни человека» слово «дом» сближается со словом «родина». Отсутствие дома представляет собой семантическую основу понятий *бездомье, странничество и изгнание*.

Взаимосвязь понятий *дом, свет, тепло, уют* отражается в русской художественной литературе конца XIX – начала XX вв. в творчестве И.А. Бунина, А.И. Куприна, А.Н. Толстого, Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, И.С. Шмелёва.

Последние десятилетия XIX – начало XX вв. – один из наиболее значимых этапов в развитии русского языка. Противоречивые общественно-политические, экономические и культурно-исторические процессы привели к значительным изменениям как в разговорной форме языка, так и в его литературном варианте.

Ключевыми языковыми процессами того времени являлись:

- вхождение разговорных элементов в книжные стили литературного языка;
- стилистическая дифференциация лексики и грамматических форм, сосуществование социально-маркированных вариантов русского языка;
- появление символики цвета с социально-политическим контекстом;
- широкое внедрение в речевой обиход иностранных заимствований из научной и политической, культурной сфер;
- активизация архаической и церковнославянской лексики.

В языке художественной прозы уже в дореволюционное время наблюдается тенденция к демократизации, которая выражалась в следующих процессах:

- переосмысление литературной нормы, уход от образцов изящной словесности в художественной прозе;
- отвержение старых литературных норм и некоторых художественных приёмов;
- зарождение символистского романа с доминирующей фигурой автора-повествователя;
- стирание границ между поэзией и прозой, возникновение ритмической прозы.

Для русской языковой картины мира дореволюционного времени *дом* был ключевым понятием. Его семантика включала в первую очередь следующие значения: личное закрытое ограждённое пространство, место рождения и жизни человека, защищенное *своё* жилище человека в отличие от *чужого* пространства, центр семейного очага; форма жилища, объединяющего членов семьи, родственников; пространство, где сосредоточены уют, тепло, комфорт, важные для конкретного человека; место эмоциональной привязанности человека, династия, особые организации благотворительного характера, семейное торговое предприятие, учреждение увеселительного типа.

В художественной литературе описание дома в дореволюционное время связано со следующими аспектами:

- Система устойчивых межличностных отношений.
- Семейные традиции.
- Просторное и уютное жилое пространство.
- Благополучный быт, его эстетизация.
- Незыблемые нравственные ценности, преемственность поколений.

Идея чистоты домашнего очага актуализируется цветосимволом *белый*, обозначающим чистоту, порядок, уют, внешнюю и внутреннюю красоту. *дом* ассоциативно связан с источниками света: *лампа, светильник, горящие свечи, пылающий камин*. *Дом* и *домашний очаг* в языковой картине мира дореволюционной эпохи занимают центральное место в ряду родственно-ментально значимых понятий: мир, семья, свет, тепло, чистота и благополучие.

Глава 2. Слово «дом» в лингвокультуре русского зарубежья

2.1. Язык литературы русского зарубежья как продолжение художественных традиций XIX века

Оказавшись вдали от Родины, представители русского зарубежья всеми силами старались сохранить связь с родиной, такой, какой она ностальгически изображалась в их памяти, с дореволюционными культурными реалиями. В этой связи русский язык рассматривался эмигрантами как наиболее значимое проявление родной культуры.

Неоднозначность вопросов самоопределения представителей русского зарубежья отразилась и в языке. Для обозначения своего положения русские, покинувшие родную страну, поначалу использовали слова «изгнание», «изгнанник», «рассеяние», позднее в речевом обиходе появились термины «эмиграция», «эмигрант».

Эмиграция – люди или совокупность людей, переселившихся в другую страну – наиболее частотная лексема эмигрантского дискурса. В эмигрантской публицистике эта лексема чаще всего употребляется с определениями: *национально-мыслящая, национальная, русская, белая, белая военная, дальневосточная.*

Стилистически окрашенным, семантически возвышенным библейским синонимом слова *эмиграция* можно считать слово *изгнание*. Тожественным можно считать и термин *рассеяние* (точная калька греческого отглагольного существительного *διασπορά* – рассеяние).

Эмигранты – лица, бежавшие от советской власти по политическим мотивам – в эмигрантском языке зачастую приравнивались к «противобольшевикам».

Эмигрантский – 1) «состоящий из эмигрантов (эмигрантская масса, эмигрантские круги, эмигрантское офицерство, эмигрантская толща Парижа,

эмигрантская молодёжь, эмигрантские семьи, эмигрантский центр)» [Зеленин 2000: 79];

2) «принадлежащий к эмигрантам (эмигрантские экономисты)» [Зеленин 2000: 82];

3) «свойственный, присущий эмигрантам (эмигрантское существование, эмигрантское равнодушие, эмигрантский активизм)» [Зеленин 2000: 84].

Исследователи отмечают влияние эмиграции на язык и речь представителей русского зарубежья. «Драматизм статуса эмигранта, сложности личной судьбы, резкие перемены на покинутой родине, политизированность «русской среды» – всё это, как и многое другое, наложило отпечаток на отношение к родному языку русских, уехавших из России после революции 1917 г.» [Голубева-Монаткина 1994: 73].

Одной из своих главных задач представители русской эмиграции считали сохранение дореволюционного варианта русского языка неизменным: консервация и защита его как значимой культурной ценности: «Языковая замкнутость, установка на образец, культивирование традиций, апелляция к классике <...> были противопоставлены революции языка и языку революции» [Грановская 2005: 246]. В качестве эталона выступает вариант русского языка последней четверти XIX века: «Кульм традиции отодвинул нормативные установки далеко назад, к последним десятилетиям XIX столетия (до «каракозовского выстрела)»» [Грановская 2005: 246].

Подобная тенденция нередко приводила к «консервации» языка, «искусственности», а порой и комичности словоупотребления. «Очень много писалось о том, что надо беречь русский язык, обращаться с ним осторожно, не портить, не искажать, не вводить новшества» [Тэффи 1988: 34].

Стремление к сохранению чистоты русского языка способствовало некоторой архаизации речи эмигрантов. Неизбежное плотное взаимодействие с представителями стран пребывания привело к закреплению в речевом обиходе эмигрантов заимствований из европейских языков (в основном английского, французского, немецкого, итальянского). «Лексику русской речи эмигрантов <...>

характеризуют три особенности – архаичность, иноязычность, разговорность, каждая из которых воплощается в определённом разряде слов: слова устарелые, иноязычные, разговорные, а иногда и относимые в современном русском языке к просторечию» [Язык русского зарубежья. Общие процессы и языковые портреты 2001: 111].

Язык советских газет был в эмигрантском обществе предметом постоянной ожесточённой критики. Особенно негативно оценивалось повсеместное использование штампов (*в общем и целом, по линии, под знаком, большая половина*), переосмысление слова «товарищ», широкое распространение аббревиатур и усечений. При этом в речевом обиходе эмигрантов сохранились сложносокращённые слова, возникшие в первое десятилетие XX века, и активно использовались новообразования времён гражданской войны: *Добрармия, балтфлотцы, нарсоб* (народное собрание), *Соказвойск* (Союз казачьих войск). Сокращения создавались и за рубежом для обозначения эмигрантских политических организаций (*ОПТ* – Объединение послереволюционных течений, *РОВС* – Русский общевойсковой союз), общественных объединений [Грановская 2005: 255].

Несмотря на стремление к консервации русского языка, в 20-е годы в эмигрантском дискурсе появляется ряд крайне негативно окрашенных новообразований для обозначения новой власти в России: *окаянство, каинизм, сатанократия, Совдепия, комиссародержавие, хамодержавие* [Грановская 2005: 258].

Новые слова, вошедшие в языковое пространство на родине после революции, представители русского зарубежья не принимали и относили к разряду советизмов [Грановская 2005; Голубева-Монаткина 1994], при этом относя к этой группе лексем не только политически маркированные слова, но и нейтральные бытовые лексемы (машина, самолёт, каникулы, обязательно, зарплата, ручка, холодильник, медсестра, дом престарелых, тапочки), предпочитая им дореволюционные эквиваленты (автомобиль, аэроплан, вакации, непременно, жалование, перо, лЕдник, сестра милосердия, старческий дом,

ночные туфли). Эмигранты не приняли новых формул приветствия и прощания («Привет! Пока!») и употребляли вместо них привычные «Здравствуйте!» и «До свидания!»).

Также в эмигрантском дискурсе не встречалось слово «готовить» в значении «варить», «снимать» в значении «фотографировать», «водить» в значении «управлять» транспортным средством (было принято «править автомобилем»). Для обозначения вечернего приёма пищи употреблялось слово «обед», а не «ужин».

Как и в новой Советской России, в русском зарубежье особое значение приобретает символика цвета, но с радикально противоположными коннотациями.

«В неофициальном обращении царских офицеров появились названия *Белая гвардия, Белая армия*, в которых определение *белый* показывало политическую (монархическую) позицию. По принципу «семантического зеркала» в языке революционеров возникли сочетания *Красная гвардия, Красная армия*. Несомненно, центральными обозначениями в годы гражданской войны в языке защитников старого режима были *Белая армия (белые армии)* и *белый офицер*. После поражения белых армий эти названия в эмигрантских кругах употреблялись чаще всего как «эхо-слова», призванные воскресить воспоминания прежнего времени (отсюда некоторая пафосность и торжественность). Появился ряд публицистических обозначений прошлой истории: *белое прошлое, белая борьба, белое движение, белые ряды, белое воинство, белый воин, белый рыцарь, белые герои*» [Зеленин 1999: 77].

Обобщение политического, идейного и духовного противопоставления большевикам и коммунистам способствовало появлению таких понятий, как «*белая идея, белое дело, белая политика*», в которых семантически опорный элемент – прилагательное. «Эмигрантские годы породили обозначения *белая эмиграция, белый изгнанник, белоэмиграция, белоэмигранты*» [Зеленин 1999: 80].

В эмигрантском дискурсе полным антонимом слову *белый* становится прилагательное *красный*. «Всё, что касается советской жизни, – *красный солдат*,

красный офицер, красный комиссар, красная власть, Красный Кремль, Красная Москва, Красный Олимп, Красный Интернационал, Красный Профинтерн, красные выдвиженцы, красные правители, красные чиновники, красные комиссары и т.д. – оценивается отрицательно» [Зеленин 1999: 91].

Итак, в понимании представителей эмиграции коммунистические власти мало чем отличались от дореволюционных эксплуататоров, отсюда и использование в эмигрантском речевом обиходе таких конструктов «красный + существительное», как *красные самодержцы, красные властители, красные сановники, красные баре, красные господа*. Этот же конструкт использовался и для создания ярких метафорических, порой даже инфернальных образов жестокости новой власти в России: «*красное коршуньё, красный зверь, красные слуги Сатаны, красное недремлющее око ОГПУ, советская идеология* характеризуется эпитетами с резко негативной окраской, пробуждая ассоциации с заразной неизлечимой смертельно опасной болезнью – *красная зараза, красная чума, красное разложение* – и наркотическим опьянением – *красный дурман, красная завеса, красная химера*» [Зеленин 1999: 94].

Субстантивированное прилагательное употреблялось эмигрантами в следующих значениях:

- Большевики и коммунисты в Советской России;
- Сторонники большевиков и коммунистов в разных странах мира [Зеленин 1999: 94].

Итак, в эмигрантском речевом обиходе слова «белый» и «красный» составляли резкую оппозицию при положительной оценочности первого (чистый, справедливый, традиционный, праведный) и отрицательной коннотацией второго (кровавый, насильственный, революционный, нездоровый).

Таблица 2. Семантика слов *красный* и *белый* в революционную эпоху в русском зарубежье

Семантическое поле	Характеристика	
	<i>белый</i>	<i>красный</i>
Здоровье	здоровый	заразный, болезненный

Власть	верноподданный	тиранический, захватнический
Закон	справедливый	насильственный
Мораль	праведный	безнравственный
Чистота	чистый, светлый	кровавый, грязный
Религия	ангельский, божественный, жертвенный, мученический	адский, греховный

В отличие от русского языка Советской России, в речевом обиходе представителей эмиграции в культурно-семиотической оппозиции *белый – красный*, равнозначной антагонизму «мы – они», «свои – чужие», положительную окраску носит первый элемент при негативной оценочности второго.

Подобное понимание символики цвета отражено и в художественной литературе русского зарубежья: «А когда мои глаза уставали, я закрывал их, и перед моим взглядом как бы захлопывалась дверь: и вот из темноты и глубины рождался подземный шум, которому я внимал <...>. Я слышал в нём и шорох песка, и гул трясущейся земли, и мотивы гармоник и шарманки; и, наконец, ясно доходил до меня голос хромого солдата:

Горел-шумел пожар московский ... –

И тогда я вновь открывал глаза и видел дым и красное пламя, озарявшее холодные зимние улицы» [Газданов 1992: 90]. В белом движении литераторы видели нечто по-христиански жертвенное, мученическое: «Я ответил, что всё-таки пойду воевать за белых, так как они побеждаемые» [Газданов 1992: 106–107].

Красный ассоциируется с разрушением, кровопролитием, болезнью тела и сознания, души и страны: «Белые представляют из себя нечто вроде отмирающих кораллов, на трупах которых вырастают новые образования. Красные – это те, что растут» [Газданов 1992: 106].

При этом трактовка понятий *белый* и *красный* в художественной прозе русского зарубежья не всегда категорична: «Ты прочтёшь в специальных книгах

подробное изложение героического поражения белых и позорно-случайной победы красных – если книга будет написана учёным, сочувствующим белым, и – героической победы трудовой армии над наёмниками буржуазии, – если автор будет на стороне красных» [Газданов 1992: 107]. Переехав зарубеж, писатели-эмигранты оказались более не вовлечёнными лично в революционные события и смогли посмотреть на социально-политические процессы, происходившие в России, со стороны.

Интересным явлением в русском эмигрантском дискурсе была омонимия языковых единиц с префиксами *анти-* и *противо-*. Если в Советской России приставка *анти-* в 20-е годы оказалась гораздо более продуктивной, чем *противо-*, практически вытеснив её, то в речевом обиходе русской эмиграции сохраняется равноправное словообразовательное использование двух этих префиксов, что привело к возникновению следующих синонимических пар социально-политических лексем: *антианархический* и *противоанархический*, *антикоммунистический* и *противокоммунистический*, *антибольшевистский* и *противобольшевистский*, *антимилитаристский* и *противомилитаристский*, *антисоветский* и *противосоветский* [Зеленин 2001: 84]. При этом слова с префиксом *анти-* чаще всего заимствовались из советских газет.

Сохранение высокой продуктивности приставки *противо-* в эмигрантском дискурсе во многом объясняется желанием сохранить в языке традиционные дореволюционные словообразовательные модели, стремлением заменить (иногда искусственно) в неологизмах иностранную приставку *анти-* на русскую *противо-*, большим стилистическим потенциалом префикса *противо-*, придающим лексеме убедительность и весомость, отсутствием унификации и стандартизации русского языка эмигрантов по причине их геополитической раздробленности.

В политическом дискурсе на словообразовательном уровне высокой активностью отличались также следующие префиксоиды:

- анархо- (анархолиберализм, анархокоммунизм, анархоиндивидуализм),
- само- (самодержавие, самодержец, самозащита, самоопределение, самоохрана),

- младо- (младо-большевик),
- старо- (старорусское),
- пан- (панславизм, панъевропейский)
- нео- (неомонархист, неохристианство),
- псевдо- (псевдо-диалектик),
- квази- (квазисоциализм),
- лже- (лжекультурный, лжеотечество, лжереволуция);

суффиксоиды:

- -росс (младоросс, карпаторосс),
- -фил (советофил, руссофил, украинофил).

Если в русском языке советского периода библейская и церковнославянская лексика утрачивает свою значимость и выходит из употребления, то в речевом узусе зарубежья этот пласт лексики не только не исчезает из речевого обихода, а, напротив, составляет идейную основу эмигрантской художественной литературы и публицистики.

Церковная лексика проявляется и в продуктивных словообразовательных моделях: префиксоид «*иудо-*» + абстрактное существительное (иудокоммунизм, иудобольшевизм, иудосталинизм), «*свято*» + существительное (Святорусье).

Странничество – внешнее и внутреннее, наполненное глубоким смыслом и преследующее духовные цели, – значимый мотив в эмигрантской литературе. «Апокалипсис ощущается как живая книга истории» [Грановская 2005: 226]. Библейские аллюзии встречаются во многих поэтических текстах русского зарубежья (В.Ф. Ходасевич, А.С. Присманова, Н.Н. Раевский) и художественной прозе (В.В. Набоков, И.С. Шмелёв, И.А. Бунин, М.А. Алданов). «Преображённый, одухотворённый в воспоминаниях быт в художественном тексте облекается в своеобразную фольклорную стилизацию в книгах И.С. Шмелёва» [Грановская 2005: 228].

«Сохранение высокой лексики и её церковнославянского пласта, неизменно обогащавших такую важную стилевую систему, как повседневный разговорный

язык, по мнению эмиграции, диктовалось интересами русской культуры, ибо исчезновение важных нравственно-религиозных понятий, утрачиваемых и не восполняемых, деформирует языковую личность, лишает её моральной опоры» [Бем 1944: 56-57]. Слова «служить» и «служение», вытесненное в Советской России на периферию речевого обихода, сохранило исходное значение (деятельность на пользу чему-либо) и дореволюционную окраску в русском языке эмиграции.

Язык художественной прозы эмиграции тяготел к вечным классическим образцам и следовал тенденциям, сложившимся в русской литературе в начале XX века:

- обращение к языку как чистой структуре;
- внимание к архитектонике текста;
- сближение прозаической и стихотворной речи;
- завершённость сюжета;
- ориентация на традиционные формы выражения [Грановская 2005: 332].

Наиболее яркими представителями русской эмигрантской прозы можно считать М.А. Алданова, И.А. Бунина, Г.И. Газданова, В.В. Набокова, А.М. Ремизова, И.С. Шмелёва. Во многих произведениях этих авторов мастерски воссоздаются атмосфера и реалии дореволюционной России, в деталях реконструируются образы семьи и дома.

Прозу И.С. Шмелёва отличает, по выражению И. Ильина, стихия «глубокомыслия». В произведениях этого писателя детально и точно воспроизводится образ счастливого домашнего очага: «Шмелёв создал здесь в величайшей простоте утончённую и незабываемую ткань русского быта, в словах точных, насыщенных и изобразительных» [Ильин 1991: 176]. Традиционная для русской художественной литературы тема самопознания, рефлексии широко представлена в «медитативной прозе» Г.И. Газданова.

Перифраза становится излюбленным приёмом ироничного наименования явлений новой российской и эмигрантской действительности: зипунные рыцари (казаки), химический офицер (произведённый из простых казаков), красная сыпь

(точки на карте, отмечающие районы восстания), мексиканские нравы (разбой и насилие), кофейная армия (белые), камышовый элемент (бродяги-дизертиры) [Грановская 2005: 263].

Подвергая резкой критике все языковые процессы, происходившие в Советской России, эмигранты не могли принять и реформу орфографии, проект которой появился и горячо обсуждался ещё до революции в начале 1900-х годов. Окончательно вступившая в силу 11 мая 1917 года в День славянских первоучителей Кирилла и Мефодия, реформа стала предметом ожесточённых споров лингвистов России и русского зарубежья (о чём уже было сказано в главе I параграфе 1.2.).

Особенно ревностно защищали представители эмиграции букву ъ, в которой они усматривали символы царской России: крест и державу. «Ъ в его древнейшем начертании символизирует церковь. Об этом красноречиво говорит крест наверху» [Лихачёв 1993: 51].

Русские книги в начале 20-х годов публиковались в трёх орфографиях: «по новой, по старой и по средней – без твёрдого знака, но с буквой ъ» [Андреев 1974: 248]. Русская классика за рубежом издавалась в старой орфографии.

Язык русского зарубежья в первые послереволюционные годы характеризует архаизация, сохранение значимости церковнославянской лексики, а в СМИ и художественной литературе – возрастание частотности обращения к библейским аллюзиям, чаще всего в целях создания негативного образа Советской России. В словообразовательном плане активизацию получили компоненты «анархо-, иудо-, лже- и др.» [Зеленин 2000: 84], которые ранее в русском дореволюционном языке служили для образования прилагательных от иноязычных основ.

2.2. Слово «дом» в языке литературы русского зарубежья

В языке русской эмиграции лингвокультуре *дом* и всему, что с ней связано, уделялось повышенное внимание как в повседневном речевом обиходе, так и в публицистической и художественной прозе. Изгнание, частая смена временных пристанищ, вынужденные попытки поиска нового постоянного жилища привели к заметным изменениям в семантической структуре этого слова в языковом сознании представителей русского зарубежья. «Вынужденное бездомье эмигрантов обновило в концепте-символе те смыслы, ассоциативные ряды, которые ранее были либо затушеваны, спрятаны, находились в семантической «тени», либо возникли, актуализировались именно в эмигрантский период жизни» [Зеленин 2007: 234]. К писателям-представителям русского зарубежья относятся М.А. Алданов, А.Т. Аверченко, И.А. Бунин, Г.И. Газданов, Е.И. Замятин, А.И. Куприн, В.В. Набоков, И.А. Шмелёв и др.

В текстах литературы русского зарубежья можно выделить следующие семантические поля с доминантой *дом*:

- Отсутствие дома, бездомье. Подчёркивается идея потери дома, в связи с этим сам дом ностальгически репрезентируется в публицистическом и художественном дискурсе.
- Семья. Проявляется особая значимость не только кровных, но и духовных уз, связывающих домочадцев. В языке это проявляется в высокой частотности «семейной» лексики в эмигрантских текстах: *родители, деды и прадеды, отец, жена, дети, хозяин*.
- Страна. Противопоставление старого и нового, прошлого и нынешнего, «здесь» и «там» при негативной оценке второго компонента оппозиции. Частотна в эмигрантском дискурсе лексика *Русь, Родина, Родина-мать, Отечество, держава, союзная империя, крепость*.
- Религия. Православие рассматривается как духовная основа общего дома, объединяющая сила. Частотна лексика из семантического ряда «вера»: *свет, лампада, святой, церковь, Святорусье*.

- История. Рассматривается как «фундамент» дома, поддерживает идею преемственности. Временному революционному настоящему России противопоставляется её славное прошлое, сопряжённое с полным надежд будущим возрождённой державной России.
- Возрождённая Россия. В эмигрантских текстах частотны следующие лексемы: *будущее, грядущее, преемственность, наследие, обновление, возрождение, воскресение.*

Выделенные ассоциативные поля с доминантой *дом* семантически соотносятся с ментально значимыми понятиями русской лингвокультуры, которые были подробно описаны в параграфе 1.1.

В культуре русской эмиграции образ России, единственной родины, занимает особое место, так как «он выступает основой, духовным стержнем, позволяющим эмигрантам сохранить свою национальную идентичность» [Шаклеин, Цуй Ливэй, Микова 2017: 108].

Дом в художественных произведениях русского зарубежья («Тёмные аллеи», «Жизнь Арсеньева», «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Маска и душа» Ф.И. Шаляпина, «Детство Никиты» А.Н. Толстого, «Лето Господне» И.С. Шмелёва, «Вечер у Клэр» Г.И. Газданова, «Самоубийство» М.А. Алданова) – смысловое единство следующих взаимосвязанных структурных элементов: семьи как системы межличностных отношений между людьми, семейных традиций, ритуалов, жилого пространства, бытового уклада, нравственных ценностей и духовных ориентиров.

Для супругов Ласточкиных из романа М.А. Алданова «Самоубийство» дом – это и уютное семейное гнёздышко, и надёжная крепость: «Всё в доме сверкало чистотой и, несмотря на размеры комнат, вся квартира была уютной. Она была создана на заработки Ласточкина, это особенно умиляло его жену. Говорила, что чувствует себя дома «как за каменной стеной» <...>. На электрическом приборе поджаривались тосты. В герметически закрывавшейся коробке был чай. Приказчик сообщил Ласточкину, что той же самой смесью чаев всегда

пользовались китайские богдыханы, – Татьяна Михайловна дразнила мужа этим чаем, и его самого называла богдыханом» [Алданов 2011: 159].

Для писателей-эмигрантов характерна эстетизация и ритуализация процесса приёма пищи. Обычный семейный ужин для героев рассказа «Антигона» И.А. Бунина становится настоящим торжеством: «Он первый вошел в празднично сверкающую люстрой столовую, где уже стояли возле столика у стены жирный бритый повар во всём белом и подкрахмаленном, худощёкий лакей во фраке и белых вязаных перчатках и маленькая горничная, по-французски субтильная. Через минуту молочно-седой королевой, покачиваясь, вошла тётя в палевом шёлковом платье с кремовыми кружевами» [Бунин 2019: 53]. Ощущение праздника в этой семейной трапезе создают именно люди, причём не только хозяин и хозяйка дома, но и их нарядные слуги становятся яркими участниками домашнего пиршества.

Традиционные домашние дела, ежедневные заботы становятся приятными и радостными для членов семьи: «Белят ризы на образах <...>. Вешают на окна свежие накрахмаленные шторы, подтягивают пышными сборками, – и это напоминает чистый, морозный снег <...>. Зеркально блестят паркетные полы, пахнущие мастикой с медовым воском, – запахом Праздника» [Шмелёв 2019: 282].

Воплощением *дома* является женщина. В рассказе «Чистый понедельник» И.А. Бунина образ женщины-хозяйки неотделим от изображения домашнего очага: «Приезжая в сумерки, я иногда заставал её на диване только в одном шёлковом архалуке, отороченном соболем, <...>. В комнате пахло цветами, и она соединялась для меня с их запахом; за одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы; в другое, левее, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя» [Бунин 2019: 224]. В этом описании образ дома отождествляется с образом города.

Триединство дома, семьи и родной страны отражает повесть А.Н. Толстого «Детство Никиты», продолжающая традиции классической литературы и

перекликающаяся с циклом «Детство», «Отрочество», «Юность» Л.Н. Толстого: в центре повествования – традиционная русская помещичья усадьба. Главный герой, от лица которого и ведётся повествование, – ребёнок (девятилетний мальчик). Очевидна дуальность дома: он разделён на зимнюю половину, символизирующую родительскую любовь и защиту, радости детской дружбы, уют, тепло, покой; и летнюю половину, изображающую непостижимость пространства и времени, над которыми главный герой не властен. В наполненной радостью зимней половине дома предметы и вещи отражают внешнюю и внутреннюю жизнь Никиты, растут, перемещаются и меняются вместе с ребёнком. «Новый дом» (зимняя половина) противопоставляется «старому дому» (летней половине). «Старый дом», статичный, постоянный, независимый от внешних условий, кажется Никите чужим и зловещим. Предметы интерьера этой части дома ассоциативно связаны в сознании ребёнка с вечностью и беспристрастностью времени (лексически эту идею репрезентируют *часы с маятником*), преемственностью поколений (её символизируют *бронзовая вазочка, таинственные портреты*). «Эти противоположные миры – две половины родительского дома Никиты, символизирующие прошлое и настоящее – неправильно было бы считать параллельными, их объединяют сами домочадцы: родители Никиты, его учитель, прислуга, дворовые ребята, даже домашние животные (ёж Ахилка, кот Василий Васильевич, скворец Желтухин) – семья главного героя, его мир» [Макарова 2022: 473].

Зимний дом воплощает радужное настоящее и ассоциируется с Рождеством, праздничные чудеса олицетворяет чемодан «интересных вещей», хранящий «листы золотой бумаги, гладкой и с тиснением, листы серебряной, синей, зелёной и оранжевой бумаги, бристолевский картон, коробочки со свечками, с ёлочными подсвечниками, с золотыми рыбками и петушками, коробку с дутыми стеклянными шариками» [Толстой 2020: 43-44]. Перечисление разноцветных мелочей и лексический повтор традиционных цветосимволов святости, ассоциируемых с домом – «золотой» и «серебряный», – изображает дом как сакральное пространство и передаёт ощущение радостного предвкушения

грядущего торжества. Из всех этих чудесных мелочей семья – взрослые и дети – мастерит свой праздник, созидает личное счастье, становясь активным творцом радости, не ограниченной пространством и временем. Приятные рождественские хлопоты становятся олицетворением связи и преемственности поколений через сохранение и передачу праздничных традиций.

Главный символ Рождества – ёлка – объединяет всех домочадцев, приносит радость семье Никиты, его друзьям, гостям – всем от мала до велика: «В гостиной от пола до потолка сияла ёлка множеством, множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от неё шёл густой, тёплый, пахнувший хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками» [Толстой 2020: 53]. Свет как значимый символ радости и счастья в русской культуре, воплощение самой жизни – становится в этом описании осязаемым и, наделяясь свойствами конкретных природных и бытовых объектов, рождает обонятельные и вкусовые ассоциации с лесом (густота еловых веток, хвойный запах), сладкими ароматами мандаринов и мёда. Лексему *свет* характеризуют эпитеты, семантически связанные с теплом и уютом: «Тёплый уютный свет лился из окон дома, из столовой» [Толстой 2020: 164].

Символика цвета в природе играет значимую роль в повествовании: белый цвет, лунный свет, ассоциативно связанный с чистотой, создаёт ощущение волшебства и таинственности: «Деревья на плотине и в саду стояли огромные и белые и, казалось, выросли, вытянулись под лунным светом» [Толстой 2020: 56]. Ночной небосвод с сияющими звёздами рождает в сознании мальчика ассоциации с домом, расширяя домашнее, «своё» пространство до вселенских масштабов: «Разостлался светящимся туманом Млечный Путь. На возу, как в колыбели, Никита плыл под звёздами, покойно глядел на далёкие миры. «Всё это – моё, думал он, – когда-нибудь сяду на воздушный корабль и улечу...» [Толстой 2020: 164]. Весь мир для Никиты – безграничный уютный дом, а родные просторы – колыбель, наполненная спокойствием и безмятежностью.

Ощущение дома у Никиты выходит за пределы родной усадьбы. В сознании ребёнка дом и природа – неделимое единство. Природа воспринимается

мальчиком как наполненный радостью, светлый и уютный дом. Это восприятие главным героем-ребёнком родной природы и родной страны как своего собственного дома объединяет повесть «Детство Никиты» А.Н. Толстого и роман «Лето Господне» И.С. Шмелёва.

Таинственная летняя половина дома с загадочными ожившими портретами, «старинными, красного дерева, часами с неподвижным диском маятника», которые, казалось, остановили время, «бронзовая вазочка со львиной мордой» представляют другой, непознанный и враждебный мир. «Тоненькое колечко с синеньким камешком» символически выражает связь времён и поколений через любовь. Естественный обитатель, хранитель семейных тайн и сокровищ, беспристрастный наблюдатель – кот Василий Васильевич сопровождает детей в непостижимом мире летней части дома: «перегоняя детей, по лунным квадратам неслышно пронёсся Василий Васильевич» [Толстой 2020: 66].

Представители животного мира – ёж Антипка, кот Василий Васильевич, скворец Желтухин – персонифицируются в повествовании, они наделены собственным характером и участвуют в жизни дома наравне с другими его обитателями: «Коту было не скучно и не весело, торопиться некуда, – «завтра, – думал он, – у вас, у людей, – будни, начнёте опять решать арифметические задачи и писать диктант, а я, кот, праздников не праздновал, стихов не писал, с девочкой не целовался, – мне и завтра будет хорошо» [Толстой 2020: 66]. Полная противоположность безучастному и независимому коту – желторотый скворец Желтухин – анималистичный прототип самого Никиты с похожим характером, поведенческими реакциями и внутренним миром, птенец напоминает задиристого, драчливого, весёлого и озорного, любопытного и наблюдательного мальчишку – ровесника самого Никиты: «Желтухин подпрыгнул, отскочил и приготовился к драке. Но Никита только разинул рот и закричал: ха-ха-ха» [Толстой 2020: 126]. В семье Никиты животные так же уважаемы и любимы, как и любой из домочадцев: «Завидев Желтухина, матушка всегда говорила ему: «Здравствуй, здравствуй, птицын серый, энергичный и живой» [Толстой 2020: 129]. В семье считали, что скворец «самостоятелен, умён и предприимчив». Кот

был в семье особо уважаемой фигурой, к нему обращались не иначе, как по имени-отчеству – Василий Васильевич. Запасливый и предусмотрительный ёж Ахилка – явный представитель старшего и мудрого поколения: «Ёж Ахилка натаскал тряпок и бумажек под буфет и норовил завалиться спать на всю зиму» [Толстой 2020: 129].

Как уютная, наполненная теплом, светом и радостью зимняя половина дома противопоставляется загадочной, беспристрастной, до конца неизведанной, будничной летней, так и раздольная деревня с её бескрайними просторами и торжеством природных сил входит в оппозицию к суетливому, душному городу: «Так начался первый день новой жизни. Вместо спокойного, радостного деревенского раздолья – семь тесноватых, необжитых комнат, за окном – гроыхающие по булыжнику ломовики и спешащие <...> люди. Суета, шум, взволнованные разговоры. Даже часы шли здесь иначе, – летели» [Толстой 2020: 170]. Дом, вмещавший в себя всё мироздание, теперь ограничен семью тесными комнатами.

Резко переменялись и домочадцы: серьёзная, аккуратная, со всеми вежливая Лиля встретила Никиту холодно, рассержено и презрительно. Цвета в описании внешности девочки опять же символичны: белое платье и голубой бант в светлых локонах сменили коричневое платье и черный бант в косе. Никита столкнулся и с изменившимся отношением своего домашнего учителя Аркадия Ивановича, который «всегда веселился, всегда подмигивал, не говорил никогда прямо, а так, что сердце ёкало» [Толстой 2020: 4], а по приезду в город стал насмешлив и отстранён. Если деревня стирала границы внешнего и внутреннего мира, объединяя две половины родного дома, домочадцев, землю, небо и звёзды в гармоничное единство, то город разделяет действительность на «своё» и «чужое», и чужими при этом становится почти все проявления окружающей действительности: и пыльные шумные улицы с суетливыми прохожими, и ставшие вдруг равнодушными и даже враждебными друзья и близкие, и тесные неуютные комнаты ещё не обжитого нового дома; «своим» остаётся лишь внутренний мир главного героя.

Дом в повести «Детство Никиты» А.Н. Толстого обладает не только пространственными характеристиками, но и временными: летняя половина деревенского дома – непостижимое неизменное прошлое, зимняя – счастливое настоящее, городской дом – тревожное будущее» [Макарова, 2022: 474].

Далеко за пределы родного дома выходит домашний очаг в сознании ребёнка, от лица которого ведётся повествование в романе «Лето Господне» И.С. Шмелёва. Для мальчика, восторженно воспринимающего окружающую действительность, весь город, вся страна – большой домашний очаг, наполненный теплотой и спокойствием. Каменные стены его нерушимы и вечны: «Стены с башнями – чтобы не смели войти враги. Святые сидят в Соборах. И спят Цари. И потому так тихо <...> Это – моё, я знаю. И стены, и башни, и соборы <...> и дынные облачка за ними, и эта моя река, и чёрные полыньи, в воронах, и лошадки, и заречная даль посадов <...> – были во мне всегда» [Шмелёв 2019: 35]. Подобное понимание дома в его широком контексте роднит роман «Лето Господне» И.С. Шмелёва с повестью «Детство Никиты» А.Н. Толстого.

Таким образом, можно утверждать, что дом в творчестве писателей-эмигрантов становится центральным образом: дом для писателя и в начале творчества, и в годы эмиграции вмещает в себя глубокое и многоаспектное понятие, в котором осмыслено высокое значение национальной традиции и родового гнезда, памяти, преемственной связи с верой, наследием предков» [Жулькова 2019: 194-202].

В художественной литературе описание дома в дореволюционное время связано со следующими аспектами:

- Система устойчивых межличностных отношений, основанных на доверии, взаимопонимании и уважении домочадцев;
- Семейные традиции и ритуалы, основной из которых – изобильное дружеское застолье;
- Просторное и уютное жилое пространство с богатым внутренним убранством;

- Благополучный быт, эстетизация предметов домашнего обихода и ритуализация повседневных домашних обязанностей;
- Незыблемые нравственные ценности и духовные ориентиры, основанные на христианстве, обеспечивающие преемственность поколений.

В описаниях дома после революции, то есть в описании своих пристанищ в изгнании, общее настроение резко меняется с ностальгии на уныние и тревогу. Сохраняя в языковом сознании понятие *дом*, представители русского зарубежья так же мало употребляют эту лексему в речевом обиходе, как и граждане Советской России (подробнее об этом в главе III, параграфе 3.2), на смену ему приходят номинации *гостиница, гостевой дом, пансион*. Эмигранты постоянно ощущают себя гостем в чужом доме, основные метафоры, описывающие их самовосприятие – «небо и земля», «изгнание из рая». В нынешних своих пристанищах изгнанники видят нечто демоническое: «По утрам, в определённый час, подгоняемая фрау Вебер, в комнату врывается, как Валькирия, горничная. Она бросается к форточке, открывает её, передвигает всё, что только можно передвинуть, отворачивает ковры, быстро подметает пол, <...> стирает пыль со всех предметов и переходит в следующее помещение» [Белозерская-Булгакова 1990: 67]. В чужих жилищах стираются личные границы, появляется ощущение тревожной незащитности перед неопределённостью внешнего мира за пределами родины.

«Небо и земля» – метафора, описывающая не только внутреннее убранство помещений, которые заменяют теперь дом, но и особенности бытового устройства, в частности, питание: «Самые мучительные моменты – это встречи за табльдотом. Во-первых, – пища. Бывает просто невкусно, а бывает ужасно: например, *Viersuppe* (суп из пива). Русскому человеку проглотить его трудно. Мясо всегда плавает в чём-то неопределённом, а есть ещё кушанье «*Himmel und Erde*» («небо и земля») – им немцы гордятся. На одном конце большого овального блюда лежит яблочное пюре («небо»), а на другом – картофельное («земля»). Эти два элемента сочетаются плохо...» [Белозерская-Булгакова 1990: 68].

И если дореволюционный дом в художественной литературе русского зарубежья представлен в божественных цветосимволах белого, золотого и серебряного, то новые пристанища, где литературный герой, изгнанный из рая одного дома, отныне только гость, сопоставляются с небом в тех цветах, в которых его видно с земли в сумеречное время, – в таинственных оттенках синего: «Я лежал рядом с Клэр и не мог заснуть; и, отводя взгляд от её побледневшего лица, я заметил, что синий цвет обоев в комнате Клэр мне показался внезапно посветлевшим и странно изменившимся. Тёмно-синий цвет <...> представлялся мне всегда выражением какой-то постигнутой тайны – и постижение было мрачным и внезапным и точно застыло, не успев высказать всё до конца; точно это усилие чьего-то духа вдруг остановилось и умерло – и вместо него возник тёмно-синий фон» [Газданов 1992: 12-13]. Комната, в которой находит себя главный герой – яркое символическое отражение его внутреннего мира, в котором поселились тревожность, поддержанная эпитетом «трепещущие занавески», грусть и ностальгия по прошлому, выраженные пролонгированной метафорой «неудержимые воспоминания, падающие как дождь», незавершённость пути от бывшего райского дома к новому земному: «Теперь он превратился в светлый; как будто усилие ещё не закончилось и тёмно-синий цвет, посветлев, нашёл в себе неожиданный, матово-грустный оттенок, странно соответствовавший моему чувству; <...> и сквозь трепещущие занавески открытого окна всё стремилось и не могло дойти до меня далёкое воздушное течение, окрашенное в тот же светло-синий цвет и несущее с собой длинную галерею воспоминаний, падавших обычно как дождь и столь же неудержимых» [Газданов 1992: 12-13]. Тревожность, грусть и неопределённость заменяют в сознании эмигрантов бывшие благополучие, радость и стабильность родного дома, который теперь становится частью «длинной галереи воспоминаний».

Цветосимвол *синий*, ассоциируемый в русской лингвокультуре с потусторонним миром, подчёркивает связь фантасмагоричной новой реальности с демоническими силами. Переходы оттенков при описании действительности от *тёмно-синего*, пробуждающего у главного героя ассоциации с мрачной

таинственностью и смертью, к *светло-синему* как цветосимволу прошлого, положительно воспринимаемого ключевым персонажем, наглядно иллюстрируют оппозицию «прошлое-настоящее», где тёмно-синий обозначает тревожное настоящее, а светло-синий – ностальгическое прошлое, оживающее в дорогах сердцу воспоминаниях. Лексемы, ассоциируемые с прошлым, несут положительную семантику ушедшей радости и светлой грусти, в то время как настоящее изображается мрачным, зловещим, чужим и нереалистичным. В этом проявляется взаимопроникновение двух оппозиций: «прошлое (своё) – настоящее (чужое)».

Дом в языковом сознании эмигрантов зачастую отождествляется с родиной. Россия в произведениях писателей-эмигрантов разделяется на «свою» (прошлую, царскую, дореволюционную) и «чужую» (настоящую, советскую, постреволюционную). «Советское государство воспринимается как чужое, поскольку не имеет духовного, культурного и исторического наполнения» [Шаклеин, Цуй Ливэй, Микова 2017: 108]. В связи с чем образ России в художественной литературе русского зарубежья изображается дуально: имперская Россия – родной дом, своё пространство, Советская Россия – чужое смертоносное пространство.

К языковым средствам создания образа *России* как *дома* (своего пространства) можно отнести:

- Лексемы с общей семантикой *родной* и использование терминов родства по отношению к России: «родная Русь», «Москва родная», «Россия-матушка», «сестра моя, страна моя», «наш русский брат».

- Лексические единицы со значением святости, церковная лексика: «Русь святая», «святая земля», «Пресвятой и пречистой иконе, лика Божьего граду – Москве», «будто в ризах старинных икон <...> золотистый ко всеобщей звон» (М. Колосова «Преемник»).

- Цветосимволы *белый* и *синий* в оппозиции к *красному*: «Взметнутся белые метели, сверкнёт иной, не красный свет», «васильковое синее поле, и над ним высоко синева» (Е. Даль «Синева»).

- Антропонимы, связанные с русской духовной культурой и литературой: «Россия Белого – пылающее море, Россия Тютчева – смирение и горе, Россия Гоголя – смятение и ад» (Н. Петерек «Россия»); «И в тумане улицы – виденья: Пушкин, Достоевский, Гоголь, Блок, чьи неумирающие тени – всей былой России эпилог» (Н. Светлов «За рубежом»); с именами лидеров белого движения: «Известия об успехах Корнилова на Дону звучали как молитвы» (А. Несмелов «В дымных лесах»), «Вот в сибирских снегах и метелях, впереди хмурой рати мелькнул орлиный профиль Колчака; вот поодаль – брат-атаман Анненков с казаками» (А.П. Хейдок «Храм снов»), «Корнилов, Колчак и Деникин – Родные душе имена!» (М. Колосова «На страже России»);

- Антропоморфный образ России как красивой женщины: «Ты – юная, ты стройная, как ель» (Л. Гроссе «Ты – юная»), «Голубоглазой, светлокосой одной России я хотел» (В. Перелешин «Россия») [Шаклеин, Цуй Ливэй, Микова 2017: 114–134].

В качестве средств вербализации образа *России* как враждебного чужого пространства – *антидома* – можно выделить:

- Лексемы с общей семантикой «злой» («Вся наша жизнь в эти злые глухие года»), в том числе наименования потусторонних существ: «Где не люди, а черти!» (М. Колосова «Бронепоезд и роза»), «Слуги сатаны ещё царят», «Русь в аду».

- Лексические единицы ассоциативного ряда «смерть», «разрушение»: «Кругом мертво», «Куда ни глянь – всё могилы да кресты» (Н. Алл «Петербург»), «За мной – разорённые гнёзда опустошённой земли» (Б. Волков «Дракон, пожирающий солнце»), «Там жизнь горит, в пожаре не сгорая» (М. Колосова «Русский вождь»), «Пылающим костром горит страна» (Л. Хаиндрова «Горсть земли»).

- Прилагательные и наречия со значением «далёкий по расстоянию»: «Там, в наших родных и далёких краях» (Н. Алл «Я выпил стакан эмигрантской отравы...»), «и такой далёкой стороне» (В. Обухов «М.Е.Ф.») [Шаклеин, Цуй Ливэй, Микова 2017: 134–147].

Идея чистоты домашнего очага, ассоциативно представленная белым цветом как символом порядка, уюта, внешней и внутренней красоты, сохраняет и преумножает свою значимость в хаосе внешнего мира и ухудшения бытовых условий, в которых эмигранты были вынуждены проживать. «При вербализации понятия *дом* в художественной литературе русского зарубежья световые ассоциации не теряют своей значимости: лампа, светильник, горящие свечи, пылающий камин противопоставляются мраку и неизвестности внешнего мира» [Макарова 2022: 478]. Окно как символ связи мира внутреннего и внешнего в литературе дореволюционного времени окрашивается в негативные оттенки, поскольку окружающий мир воспринимается как зловещий и враждебный, мировосприятие главных действующих лиц оборачивается вовнутрь, и в этом понимании значимыми образами становятся запертая дверь и каменные стены как символы защиты внутреннего от внешнего.

В прозе русского зарубежья наиболее значимыми ментальными понятиями, связанными с домом, становятся уют, свет, тепло. Именно поэтому ностальгически воспроизводится писателями-эмигрантами образ дореволюционного дома, полный тепла и света, любви и радости. При этом максимально усиливается контраст «свои-чужие»: мир внутри спокойный, светлый и радостный, мир снаружи – враждебный, неопределённый и зловещий.

2.3. Мотив и мотивный анализ как метод филологического исследования

Теория мотива начинает формироваться на рубеже XIX-XX веков. Проблемой изучения мотива занимались А. Дандес, С. Томпсон, Я. Ван дер Энг, в отечественной науке – А.И. Белецкий, А.Л. Бем, А.Н. Веселовский, Б.М. Гаспаров, А.К. Жолковский, Ю.М. Лотман, Е.М. Мелетинский, В.Я. Пропп, Б.Н. Путилов, И.В. Силантьев, Б.В. Томашевский, В.И. Тюпа, В.Е. Хализев, В.Б. Шкловский, Б.И. Ярхо и др. Дискретность и фрагментарность повествования литературных произведений XX века позволили выделить мотив наряду с темой, сюжетом, фабулой и композицией в качестве основной структурной единицы художественного текста.

Я. Ван дер Энг даёт следующее определение мотива: «Изменяющаяся повествовательная единица, которая различным образом выражает свою семантическую функциональность» [Ван дер Энг 1973: 40].

А.Н. Веселовский считал, что мотив – это «простейшая повествовательная единица, образно ответившая на разные запросы первобытного ума или бытового поведения» [Веселовский 1940: 500], и связывал *мотивы с сюжетом и жанром* художественного произведения, не выделяя при этом их стилистику и не концентрируясь на композиционном своеобразии. Его работы легли в основу структурного анализа и описания мотива.

А.И. Белецкий указывает на два уровня функционирования мотива: «схематический» и «реальный». «Реальный мотив» – часть сюжета конкретного текста художественного произведения, входящая в фабульно-событийное устройство. «Схематический мотив» связан не с конкретным сюжетом, фабулой произведения, а с вариантом «сюжетной схемы», которую составляют «отношения-действия» [Белецкий 1964: 116].

Б.Н. Путилов полагал, что «мотив функционирует в составе системы, здесь он находит своё определённое место, здесь вполне выявляется его конкретное содержание» [Путилов 1975: 98].

А.Н. Веселовский, А.И. Белецкий, Б.Н. Путилов, рассматривая связь мотива и сюжета, подчёркивают движущую роль мотива, выделяя 3 уровня его реализации в художественном тексте:

- Уровень лексики и фразеологии;
- Уровень грамматики (синтаксиса);
- Уровень сознания народа, культуры нации.

Мотив может быть словом, словосочетанием, предложением. Мотив реализуется в духовной сфере, постепенно закрепляясь в языковом сознании, содержит в себе культурный код нации. Необходимо исследовать мотив на всех указанных выше уровнях, чтобы определить его семантическую насыщенность.

Б.В. Томашевский и В.Б. Шкловский проанализировали связь мотива с темой произведения, установив его текстообразующие возможности: «Тема неразложимой части произведения называется мотивом. В сущности, каждое предложение обладает своим мотивом» [Томашевский 1927: 53]. Сочетаясь между собой, мотивы образуют тематическую связь художественного текста. «Фабулой является совокупность мотивов в их логической причинно-временной связи, сюжетом – совокупность тех же мотивов в той же последовательности и связи, в какой они даны в произведении» [Шалыгина 2012: 253].

В свою очередь А.Л. Бем, Б.М. Гаспаров, Ю.М. Лотман, Б.И. Ярхо определили связь мотива и *темы* произведения на семантическом и структурном уровне. А.К. Жолковский и Ю.К. Щеглова предложили выделять инвариативные и варианты мотивы, акцентируясь при этом на интертекстуальность в трактовке мотива и рассматривая его как «ситуативно-событийную единицу сюжета». Вслед за А.Н. Веселовским и Б.И. Ярхо А.К. Жолковский, Ю.К. Щеглова и В.Е. Хализев подчёркивают связь *мотива с темой* и *сюжетом*, не рассматривая при этом их как одно и то же: «Мотив – это компонент произведений, обладающий повышенной значимостью (семантической насыщенностью). Он активно причастен к теме и концепции (идее) произведения, но им не тождественен <...> сферу мотивов составляют звенья произведения, отмеченные внутренним, невидимым курсивом, который подобает ощутить и распознать чуткому читателю

и литературоведу-аналитику. Важнейшая черта мотива – его способность оказываться полуреализованным в тексте, явленным в нём неполно, загадочным» [Хализев 2002: 72].

Очевидна связь мотива с основными структурными единицами повествования: фабулой и сюжетом. С точки зрения И.В. Силантьева, фабула – это аспект повествования, учитывающий причинно-следственные и пространственно-временные отношения некоторых событий (отношения смежности по Б.В. Томашевскому) [Томашевский 1927: 53].

Фабула синтагматична, сюжет парадигматичен. В свою очередь, мотив представлен событиями как единицами повествования. Таким образом, «мотив есть обобщение событий. Следовательно, мотив – это единица обобщенного уровня повествования, т. е. собственно языка повествования» [Силантьев 2004: 374].

Б.М. Гаспаров – автор концепции мотивного анализа – сформулировал «принцип лейтмотивного построения повествования»: «некоторый мотив, раз возникнув, повторяется затем множество раз, выступая при этом каждый раз в новом варианте» [Гаспаров 1994: 30]. В рамках данной концепции мотив определяется как очень широкое понятие: «в роли мотива может выступать любой феномен, любое смысловое «пятно» – событие, черта характера, элемент ландшафта, любой предмет, произнесённое слово, краска, звук и так далее, единственное, что определяет мотив – это его репродукция в тексте» [Гаспаров 1994: 30]. Таким образом, основным свойством мотива становится его повторяемость в художественном тексте.

Л.Е. Хворова выделяет также и другую важную характеристику мотива – его подвижность – и определяет мотив как «движущееся, переходящее из сюжета в сюжет на протяжении единого художественного целого литературного пространства формально-семантическое ядро (некая макроструктура), представляющая собой сгусток свойств различного порядка, в том числе духовно-ценностных аксиологических свойств. Мотив может нести объектно-субъектную

информацию, а может иметь значение признака или действия» [Попова, Хворова 2004: 127].

В последнее время активно развивается подход к пониманию мотива в рамках методологии лингвистической прагматики. Подчёркивается значимость двух компонентов в структуре мотива: вариантного (смысловая наполняемость контекстуальна) и инвариантного (понятие находит отражение во всём творчестве автора, в языковой картине мира). Прагматическая концепция мотива также связана с лингвистической теорией актуального членения предложения, подчёркивается идея сочетания и слияния темы и ремы в составе значения мотива.

Выделяют следующие критерии выявления мотива в авторском повествовании: повторяемость, предикативность, динамическая ситуативность.

А. Дандес предлагает следующее структурно-сюжетное деление мотива и вводит понятия «мотифема» (инвариантный мотив-схема) и «алломотив» (конкретная текстовая реализация мотифемы) [Dandés 1962: 75]:

- 1) тема мотива (motipheme);
- 2) собственно мотив, выраженный в предикативной форме;
- 3) вариант мотива (allomotive – изложение конкретной реализации мотива в определённом тексте);
- 4) episode (собственно фрагмент текста в его реальном виде).

Мотив семантически соотносим с *понятием*, которое в Толковом словаре С.И. Ожегова определяется как «оформленная общая мысль о классе предметов, явлений, идея чего-нибудь; представления, сведения о чём-нибудь; способ, уровень понимания чего-нибудь» [Ожегов 2012: 537]. При этом мотив менее конкретен, чем понятие, он схематичен субъективен, поскольку выступает в тексте отражением авторского восприятия действительности, во многом носит субъективно-оценочный характер и сопряжён с коннотативным отражением фрагмента действительности в языковой картине мира.

Лингвистические явления *мотив* и *лейтмотив* (повторяющаяся в каком-нибудь произведении основная мысль, идея; основная идея, то, что проходит

через что-нибудь красной нитью [Ожегов 2012: 311]) схожи по своей семантике, однако лейтмотив более схематичен, чем мотив, и основан в большей степени на ассоциациях, чем на предметном отражении действительности. Символический и надсюжетный, лейтмотив пронизывает весь художественный текст. Таким образом, лейтмотив может рассматриваться как ведущий мотив в одном или нескольких произведениях автора. В этом понимании лейтмотив очень близок к инвариантному мотиву.

Инвариантные мотивы, пронизывающие всё творчество автора и отражённые в языковой картине мира, неотделимы от понятия «архетип», который представляет собой «структурную схему, структурные предпосылки образов, концентрированное выражение психической энергии, актуализированной объектом» [Мелетинский 1994: 5]. На стыке двух понятий возникает термин «архетипический мотив», под которым следует понимать «некий микросюжет, сконцентрированный вокруг своего предикативного центра» [Мелетинский 1986: 46]. Архетипические мотивы отличаются структурно-семантическим постоянством, восходят к мифологическим, религиозным и фольклорным сюжетам.

Языковая картина мира наиболее полно отражается в обобщённо-мировоззренческих инвариантных мотивах (одиночества, странничества, благополучия, покоя, памяти и забвения, верности и измены и пр.).

Так же, как и мотив, с языком и культурой связано понятие *концепт* – «лингвоментальный инструмент, позволяющий нам интерпретировать окружающую нас действительность и тем самым познавать себя» [Зеленин 2007: 232]. Концепт состоит из трёх компонентов:

- 1) понятийный каркас (реальный или воображаемый объект);
- 2) ценностная характеристика относительно других сходных понятий;
- 3) образно-эмоциональные составляющие [Зеленин 2007: 232].

Для Ю.С. Степанова «концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт – это то, посредством чего человек <...> сам входит в культуру,

а в некоторых случаях и влияет на неё» [Степанов 2001: 43]. Подчёркивая связь концепта как объективного культурного и лингвистического явления с субъективными факторами: сознанием и эмоциональной сферой каждого носителя языка, Ю.С. Степанов приходит к выводу: концепт – основная ячейка культуры в ментальном мире человека. В подобном понимании концепты сближаются с ментальными понятиями, о которых шла речь в главе I, параграфе 1.1.

Мотив от концепта отличается надпредметностью: он редко бывает сопряжён с объектом действительности, чаще с душевным состоянием, явлением духовной жизни, абстрактным понятием или общеизвестным персонажем, наделённым в языковом сознании определёнными характеристиками. Следующее значимое отличие мотива – его схематичность, некая незавершённость, он словно приглашает читателя к сотворчеству, даёт ключ к разгадке авторского замысла. В отличие от концепта, мотив не существует сам по себе, он тесно взаимосвязан с сюжетом и ключевыми образами художественного произведения. Мотив является далее неделимой единицей повествования, в то время как концепт в своей структуре содержит семантическое безоценочное «ядро» и эмоционально-ассоциативную «периферию».

Рассмотрение существующих в современной лингвистике подходов к трактовке мотива в его взаимосвязи с другими структурными элементами художественного текста и базовыми понятиями языкознания позволило нам уточнить и дополнить уже существующие и сформулировать собственное определение:

Мотив – многократно повторяющийся в тексте динамический структурно-семантический (повествовательный) элемент (компонент) художественного произведения, который, преломляясь через авторское восприятие, описывает отдельный фрагмент языковой картины мира.

Мотивный анализ как разновидность постструктуралистического подхода к интерпретации художественного текста был предложен Б.М. Гаспаровым в конце 1970-х годов. В рамках данного подхода за единицу анализа берутся не

отдельные слова и предложения, а мотивы, которые, будучи кросс-уровневыми элементами, повторяются, варьируются и переплетаются друг с другом, создавая неповторимую поэтику художественного текста: «Каждый компонент, так или иначе, прямо либо в силу ассоциативных сопряжении попавший в орбиту смыслообразующей работы мысли, не остается равным самому себе — тем своим свойствам, которые могут у него проявиться вне именно этого, в данную минуту и в данных условиях происходящего процесса. Соответственно, предметом анализа должен быть не сам этот компонент как таковой, но его преобразование в качестве мотива, неотъемлемо принадлежащего данному сообщению, имеющего смысл лишь в тех неповторимых сплавлениях с другими мотивами, которые возникают в данном сообщении в процессе его осмысливания» [Гаспаров 1994: 24].

Мотивный анализ отвергает классическую идею структурных уровней текста, утверждая, что повествование представляет собой не жёсткую систему, а скорее запутанный клубок нитей-мотивов: «Интерпретация сообщения <...> не “складывается” из устойчивых составных частей, но развёртывается и перестраивается в виде подвижного поля, таким образом, что каждый компонент-мотив, из которых складывается ткань этого поля, в любой момент готов раствориться во всё новых слияниях, образующих все новые конфигурации» [Гаспаров 1994: 26]. В подобном понимании интерпретация художественного текста основана на поиске глубинных смыслов — личностных авторских и общекультурных — на основе ассоциаций, порождаемых ключевой символикой текста.

Мотивный анализ сопряжён с интерпретацией символов и связанных с ними ассоциаций в социокультурном и историческом контексте: «Сущность мотивного анализа состоит в том, что он не стремится к устойчивой фиксации элементов и их соотношений, но представляет их в качестве непрерывно растекающейся «мотивной работы»: движущейся инфраструктуры мотивов, каждое новое соположение которых изменяет облик всего целого и, в свою очередь, отражается на вычленении и осмыслении мотивных ингредиентов в составе этого целого» [Гаспаров 1996: 84].

Анализ мотивов в художественном произведении позволяет точнее интерпретировать ключевые моменты воплощения авторского замысла. Так, в рассказе И.А. Бунина «Лёгкое дыхание» противопоставленные мотивы «лёгкость – холод» в описании внезапно оборвавшейся жизни юной очаровательной девушки становятся важными композиционными элементами и вместе с тем выражают философские представления писателя о бытии и месте человека в нём. Мотив холода появляется не только в описаниях зимы, но и лета, в эпизодах, изображающих кладбище ранней весной. Эти мотивы объединены в последнем предложении рассказа и завершают повествование: «Теперь это лёгкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре» [Бунин 2019: 47]. В художественном произведении мотивы, переплетаясь друг с другом, создают сюжетную схему, отражают языковое сознание автора и изображают фрагмент картины мира.

Таким образом, мотивный анализ текстов художественной литературы помогает точно определить особенности семантики лексических единиц конкретного периода развития языка.

Мотивный анализ предполагает:

1. Выявление повторяющихся семантически схожих композиционных элементов текста,
2. Определение ключевых лексических единиц, повторяющихся в схожих композиционных элементах текста,
3. Раскрытие семантики и символики ключевых лексических единиц, повторяющихся в схожих композиционных элементах текста,
4. Лингвистический анализ семантически взаимосвязанных фрагментов текста, содержащих повторяющиеся лексические единицы-символы,
5. Составление схемы лингвистической реализации мотива в тексте,
6. Определение взаимосвязанных мотивов, составление мотивного рисунка текста.

Мотивный анализ со свойственной ему интегративностью позволяет обобщить образ дома, представленный в произведениях авторов-свидетелей

революции, и проследить изменения в семантике слова «дом» и связанным с ним фрагментом языковой картины мира.

В данном исследовании метод мотивного анализа позволил изучить особенности языкового сознания отдельных авторов и восприятия ими ментального понятия «дом» через художественную прозу, выявить повторяющиеся мотивы во фрагментах текстов, посвященных описанию дома. Выделенные в ходе исследования мотивы позволяют определить сходства и различия в лингвистической репрезентации лексемы «дом» в творчестве писателей, живших в России и в эмиграции.

Таким образом, мотивный анализ как метод лингвистического исследования даёт возможность описать отдельный фрагмент языковой картины мира в синхроническом и диахроническом аспекте; проследить семантические трансформации отдельных лексем и ассоциативных полей, с ними связанных; установить сходства и различия в лингвистической репрезентации связанных с этими лексемами ментальных понятий в языковом сознании индивидуальном и общественном.

2.4. Ключевые мотивы в описании дома в лингвокультуре русского зарубежья

Художественная литература – одна из форм существования языка, во многом его формирующая. Академик В.В. Виноградов подчёркивает значимость художественной литературы в становлении национального языка. «Вопросы соотношения языка и культуры решаются Виноградовым и при рассмотрении им исторического движения русского литературного языка в сопряжении с историей русской художественной литературы и под влиянием художественно-беллетристических стилей, «языка писателей» [Бельчиков 2003: 304].

Художественная литература – важная форма национальной культуры, в которой отражается языковая картина мира этноса. В художественной литературе отражаются значимые понятия общественной жизни, доминанты конкретной лингвокультуры.

Анализ мотивов художественных произведений – эффективный способ раскрыть культурный код исторической эпохи, именно ей свойственные особенности языковой картины мира. Рассмотрим, как такой универсальный элемент общечеловеческой лингвокультуры как *дом (домашний очаг)* и изменения в его семантике и эмоционально-ассоциативной структуре в контексте революционных событий представлены в произведениях авторов русского зарубежья на основе мотивного анализа.

Дом (домашний очаг) – значимый образ романа М.А. Алданова «Самоубийство» – играет важную роль в системе авторских символов и сопряжен с отношениями между персонажами, политическими событиями в стране, ходом самой истории. «Представление о семье как оплоте Дома (символе стабильности) является многовековым, традиционным культурно-социальным мотивом» [Зеленин 2007: 236].

Дом в образной картине М.А. Алданова неразрывно связан с благополучием, защищённостью, светом, радостью от общения с родными и близкими. Образ домашнего очага дореволюционной России несёт в себе

исключительно положительную семантику изобилия, роскоши, веселья. «Это не только совокупность суждений, относящихся к эстетическим оценкам устройств быта или составляющих этот быт предметов. Это и переживание таких социально-детерминированных чувств, как свежесть и чистота, совершенство и завершенность, уют и защищенность. Это и «маленькие домашние удовольствия», вызванные игрой памяти, воображения, идеалов с обонятельными, слуховыми, тактильными ощущениями» [Корнейчук, Скнар 2018: 325].

Мотив благополучия. Ключевым в репрезентации домашнего очага в романе М.А. Алданова «Самоубийство» является сочетание старого и нового, традиций и инноваций: «В этот июньский солнечный день, ровно в восемь часов утра в прекрасном, тщательно выглаженном сером костюме, <...> вышел в столовую и с удовлетворением окинул взглядом накрытый белоснежной скатертью стол. <...> Уже был соединен со штепселем небольшой серебряный электрический самовар, – непринятая в Москве новинка. <...> лет пять тому назад, когда стал много зарабатывать, снял в старом доме поместительную квартиру с большими высокими комнатами, с толстыми стенами, с голландскими печами; произвёл в ней капитальный ремонт» [Алданов 2011: 157].

Сдержанность, прочность, стабильность в сочетании с разумными инновациями – вот ключевые характеристики дореволюционного домашнего очага Ласточкиных: «В доме не было ни старинного серебра, ни золоченой через огонь бронзы, ни морёного дуба <...> и старательно избегал в устройстве квартиры того, что могло бы казаться «аристократическими претензиями». Но всё было хорошее, прочное, удобное. С «аристократической претензией» случайно вышла лишь вторая гостиная: необычная, круглая, затянутая атласом: Нина просила, чтобы ей разрешили устроить эту комнату по ее плану: «Будет как в Мальмезоне у Жозефины, но ведь Жозефина не была природной королевой, и Мальмезон это не Версаль и не Трианон». Просто у нее был хороший вкус» [Алданов 2011: 158].

Эти благополучие и уют не были для хозяина и хозяйки дома подарком небес, а активно создавались и трепетно поддерживались и развивались ими

благодаря усердному ежедневному труду, что позволяло домочадцам чувствовать себя творцами собственной судьбы, надежно защищенными нерушимыми стенами родного дома: «Всё в доме сверкало чистотой и, несмотря на размеры комнат, вся квартира была уютной. Она была создана на заработки Ласточкина, это особенно умиляло его жену. Говорила, что чувствует себя дома "как за каменной стеной" <...> На электрическом приборе, поджаривались тосты. В герметически закрывавшейся коробке был чай. Приказчик сообщил Ласточкину, что той же самой смесью чаев всегда пользовались китайские богдыханы. Татьяна Михайловна дразнила мужа этим чаем, и его самого называла богдыханом» [Алданов 2011: 159].

В рассказе «Зойка и Валерия» И.А. Бунина стабильность и благополучие олицетворяют старинные часы: «С гробовой медлительностью, блистая, ходил из стороны в сторону медный диск маятника в старинных стоячих часах» [Бунин 2019: 69]. Часы эти стерегли «весь важный порядок этой богатой, просторной квартиры» [Бунин 2019: 69].

«Как за каменной стеной чувствуют себя герои произведений не только в тепле и уюте домашнего очага, но и во внешнем мире, «каменные стены» надёжности, добротности и основательности простираются далеко за пределы родного дома» [Макарова 2020: 189].

В основе лингвистической репрезентации мотива благополучия в текстах художественной прозы русского зарубежья – лексика, объединённая общей семантикой «крепкий быт»: *толстые стены, как за каменной стеной, всё было хорошее, прочное*; «чистота»: *всё в доме сверкало чистотой, белоснежная скатерть, важный порядок*.

Мотив изобилия, жизни как праздника, праздника как традиции. Дореволюционные застолья отличались изобильностью не только в гастрономическом, но и в культурном плане: наряду с разнообразными угощениями, гости вкушали и пищу духовную: «В Москве литературные салоны были в большей моде, чем музыкальные. Ласточкин у себя устроил музыкальный, понимая, что такой у него выйдет лучше <...>. Татьяна Михайловна <...>

подчинилась желанью мужа и старалась, чтобы приглашенные скучали возможно меньше, хорошо ели, хорошо, но в меру пили» [Алданов 2011: 206-207].

В романе «Лето Господне» И.С. Шмелёва идеализируется даже аскетичная постная трапеза: «В буфете остались самые расхожие тарелки, с бурыми пятнышками-щербинками, – великопостные. В передней стоят миски с жёлтыми солёными огурцами, с воткнутыми в них зонтичками укропа, и с рубленой капустой, кислой, густо посыпанной анисом, – такая прелесть. Я хватаю щепотками, – как хрустит! И даю себе слово не скоромиться во весь пост. Зачем скоромное, которое губит душу, если и без того всё вкусно? <...> И почему все такие скучные? Ведь всё – другое, и много, так много радостного» [Шмелёв 2019: 10-11]. Семейная трапеза, пусть даже постная, с самой простой посудой и незамысловатой едой, в глазах ребёнка предстаёт настоящим праздником. «Домашний очаг с его простыми ежедневными радостями открывает невинной детской душе двери в мир нравственной красоты и духовности» [Макарова 2021: 364].

Ностальгический мотив изобилия ассоциативно связан с семейным праздником и дружеским застольем, которые писатели-представители русского зарубежья описывают в мельчайших деталях.

Мотив связи и преемственности поколений в романе М.А. Алданова «Самоубийство» олицетворяется именно дружеским застольем: «Особенно охотно собирались у Ласточкиных: у Нины большая комната с мягкой удобной мебелью. Хозяин и хозяйка иногда заходили на минуту – "пожать руку" – и тотчас исчезали. Зато присылали превосходное угощение. Ужинов Нина у себя почти никогда не устраивала, так как далеко не все другие могли бы это себе позволить, а надо было по возможности соблюдать бытовое равенство. Но к чаю Фёдор <...> приносил в изобилии бутерброды, торты, печенье, даже ром и коньяк, имевшие особенный успех. Из комнаты до поздней ночи доносились веселые голоса, хохот, иногда музыка» [Алданов 2011: 176]. В описании дружеских застолий молодого поколения русской интеллигенции на передний план выходят

даже не герои романа, а сама дружеская беседа, которая олицетворяет богатство духовной культуры действующих лиц.

Мотив преемственности поколений неразрывно связан с мотивом благополучия и изобилия и находит своё символическое выражение в *семейном празднике*, объединяющем старшее и младшее поколение под крышей домашнего очага, и вербализуется в лексемах, ассоциативно связанных семантикой *радости*: весёлые голоса, хохот.

«Гармонию мотивов, вызывающих исключительно положительные ассоциации с благополучием, стабильностью, праздником, уютom, нарушает *мотив предчувствия утраты*» [Макарова 2022: 304]. В романе «Вечер у Клэр» Г. Газданова мотив предчувствия поддерживается наречием с семантикой ожидания «вот-вот», словосочетанием со значением грядущих серьёзных личноcтно значимых перемен «новая эпоха моей жизни», предопределённости «этого не миновать»: «Это стремление к перемене и тяга из дому совпали со временем, которое предшествовало новой эпохе моей жизни. Она всё вот-вот должна была наступить: смутное сознание её нарастающей неизбежности всегда существовало во мне, но раздроблялось в массу мелочей: я как будто стоял на берегу реки, готовый броситься в воду, но всё же не решался, зная, однако, что этого не миновать: пройдёт ещё немного времени – и я погружусь в воду и поплыву, подталкиваемый её ровным и сильным течением» [Газданов 1992: 64]. Будущее в этом фрагменте метафорически отождествляется с рекой, войти в которую означает принять неизбежное и поддаться её течению, будучи уже не в силах ни изменить что-то, ни повернуть назад. Эта метафора «жизнь – река» отсылает нас, с одной стороны, к античному фразеологизму «перейти Рубикон» в значении принять решение, исход которого будет неизбежен, с другой же стороны – к восточной философии и идеи созерцания реки жизни, ненасильственного принятия её потока.

Более зловеще мотив предчувствия утраты звучит в рассказе «Таня» И.А. Бунина и выражен всего в двух предложениях: «Это было в феврале страшного семнадцатого года. Он был тогда в деревне в последний раз в жизни»

[Бунин 2019: 100] и репрезентируется оценочным прилагательным с отрицательной и тревожной коннотацией «страшный» и словосочетанием со значением фатальности «в последний раз в жизни».

Лингвистически мотив предчувствия отражается в словосочетаниях с общей семантикой нерешительности (*но всё же не решался, смутное сознание*), неизбежности (*этого не миновать, нарастающая неизбежность, перейти Рубикон*), в прилагательных *страшный, последний*.

В прозе писателей-эмигрантов описание *дома и семьи* в дореволюционную эпоху резко контрастирует с языковой репрезентацией *домашнего очага* главных героев их произведений в революционное время. В них звучат совершенно другие мотивы. «Исчезновение или потеря дома – это архетипический сюжет, это катастрофа; это противоречит нашему представлению о доме как о долговечном, прочном и упорядоченном мире и обозначает разрыв с прошлым» [Радомская 2006: 41].

«Революция, так неожиданно обрушившаяся на главных героев произведений, драматически меняет судьбы, разоряет родовое гнездо. В эпизодах, описывающих домашний очаг в революционное время, на передний план выходит *мотив разрушения*» [Макарова 2020: 189]. Крепость дома захвачена чужими, поругана, разорена, подвержена варварскому грабежу: «Скоро у Ласточкиных человек в кожаной куртке отобрал рояль. Теперь они и не спорили. Играть всё равно было трудно, а продать рояль невозможно» [Алданов 2011: 559]. Мотив разрушения символически отражает образ человека в чёрной куртке.

Мотив разрушения в прозе писателей-эмигрантов неразрывно связан с *мотивом нарушения преемственности поколений*, который лингвистически реализуется определениями с негативной семантикой (*буйные, дерзкие, скандалившие, грубившие*), глагольным словосочетанием *отравлять жизнь* и ассоциируется с образом бунтующих подростков.

Разрушено не только внутреннее убранство дома, но и привычная система ценностей, нарушается преемственность и связь поколений: «Отравляли жизнь только подростки, на редкость буйные, дерзкие, вечно скандалившие и грубившие

родителям. Они выбрали себе гостиную, которую когда-то обставила Нина. По-видимому, их прельстила круглая форма этой комнаты. Расставили в ней кровати и покрыли содранным со стен шёлком» [Алданов 2011: 557]. Поругание прежних эстетических и духовно-нравственных ценностей представляется как наиболее тяжкая утрата. Мотив разрушения в этом эпизоде усилен оппозицией «подросток – взрослые», олицетворяя собой противоречия между старым и новым социальным устройством и традиционный для русской культуры тургеневский конфликт отцов и детей.

Изменение целевого назначения атрибутов дома дореволюционной действительности (содранный со стен шёлк используется как покрывало на кровать) поддерживает *мотив коренных изменений в быту и сознании*. В революционное время меняется целевое назначение комнат и их убранство, образ жизни главных героев становится другим, с уменьшением жилплощади сужается их личное пространство: «Спальная – прежняя столовая – была почти пуста: оставались только кровать и диван, ночной столик между ними и одно кресло; да ещё на стене висели на гвоздях немногочисленные платья и два мужских костюма. Всё остальное было продано» [Алданов 2011: 557]. Будучи не в силах противостоять варварскому разорению домашнего очага, потеряв материальное благополучие, Ласточкины всё же пытаются сохранить духовное богатство, защитить семейные ценности. «В эпизодах романа «Самоубийство», связанных с революционными событиями, явственно прослеживается дуализм в описании домашнего очага, разделение его на внешний – материальный, и внутренний – духовный. Если в царскую эпоху главными героями весь мир воспринимался как уютный, благополучный домашний очаг, то в результате революционных преобразований материальный мир сузился до размеров небольшой спальни, служившей когда-то столовой» [Макарова 2020: 65]. От бывшего изобилия и достатка не осталось и следа, в то время как каменные стены внутреннего очага, ассоциируемого отныне с душевным миром крепкого, основанного на духовности семейного союза, продолжают держать оборону: «Ложились они теперь рано и до полуночи читали в спальне при свете керосиновой лампы, как в пору детства

Дмитрия Анатольевича [Алданов 2011: 556]. <...> По вечерам Ласточкины читали классиков: всех потянуло к тому, что было *бесспорно* в русской культуре» [Алданов 2011: 554]. Классическая литература поддерживает нарушенную революцией связь времён и культурную преемственность. Как было сказано в Главе I параграфе 1.1., в русской ментальности культура и язык тесным образом связаны с понятием *дом*. Изю дня в день обращаясь к «тому, что бесспорно в русской культуре», Ласточкины при потере дома в его значении «собственное жильё» пытаются воссоздать и сохранить духовные составляющие дома: любовь, лад в семье. Родной язык, литература и культура становятся для них центральными аспектами дома в условиях разрушения его бытовых устоев.

Атрибуты былого благополучия становятся неуместными в изменившемся доме: «Медали за храбрость и боевые заслуги вы не получите, зато я вас награжу: к обеду достали шпроты, картошку и два фунта колбасы. Будете есть их с альбертиками. Шампанского вы, Алексей Алексеевич, не любите, да и неприлично было бы теперь пить шампанское» [Алданов 2007: 257]. Реалии прошлого не вписываются в новую картину мира.

Мотив коренных изменений в быту и сознании во многом противопоставлен в творчестве писателей-эмигрантов мотиву благополучия и лингвистически представлен как отсутствие благополучия, ухудшение бытового устройства иногда до разорения и обнищания: *керосиновая лампа, шпроты, картошка, колбаса к обеду, неприлично пить шампанское; кровать, диван, и одно кресло; всё остальное продано*. Более ярко, чем в художественной литературе, этот мотив проявляется в мемуарной прозе.

Мотив фантасмагоричности, иллюзорности, прозрачности бытия. Метафора, основанная на противопоставлении эвклидового мира миру геометрии Лобачевского, олицетворяет этот мотив: «Ласточкины после октябрьского переворота чувствовали себя почти так, как мог бы себя чувствовать человек, проживший жизнь в эвклидовом мире и внезапно попавший в мир геометрии Лобачевского» [Алданов 2011: 533]. Внешний мир представляется отныне настолько враждебным, что в его реальность не хочется верить.

Мотив фантасмагоричности в романе «Вечер у Клэр» Г.И. Газданова реализуется на основе противопоставления «внешнее – внутреннее», «сон – явь», «покой – движение» и смещения границ между ними: «горела лампа над моим столом, за окном было холодно и темно; и я жил точно на далёком острове; и сейчас же за окном и за стеной теснились призраки, входившие в комнату, как только я думал о них. Тогда, в России, был холоден воздух, был глубок снег, чернели дома, играла музыка, и всё текло передо мной – и всё было неправдоподобным, всё медленно шло и останавливалось – и вдруг снова принималось двигаться; одна картина набегала на другую – словно ветер подул на пламя свечи, и по стене запрыгали дрожащие тени, внезапно вызванные сюда Бог весть какой силой, Бог весть почему прилетевшие, как чёрные немые видения моих снов» [Газданов 1992: 90]. Традиционные символы, рождающие положительные ассоциации с домом – тепло, свет, белый цвет, свеча – фантасмагорически меняются и рожают тревожные призрачные образы. Важнейшей цветовой ассоциацией, характеризующей российский дом в период революции и сразу после неё стал мрачный чёрный, холод сменил тепло мрак и темнота – свет. Оппозиция «свои – чужие» при описании дома реализуется противопоставлением «свеча – пожар»: небольшой огонёк «едва теплится в домашнем очаге, не согревая и не освещая пространство внутри, а лишь отбрасывая тревожные тени на тёмные стены» [Макарова 2020: 309]. А пожар революции, полыхающий снаружи, подступает всё ближе и ближе, и его неконтролируемое пламя вот-вот поглотит то немногое, что осталось от дома в сознании главного героя: «А когда мои глаза уставали, я закрывал их и перед моим взглядом как бы захлопывалась дверь: и вот из темноты и глубины рождался подземный шум <...>. Ясно доходил до меня голос хромого солдата:

Горел-шумел пожар московский ... –

И тогда я вновь открывал глаза и видел дым и красное пламя, озарявшее холодные зимние улицы» [Газданов 1992: 90]. Разрушение *дома* неминуемо, поскольку в нём утрачено главное – свет и тепло.

Лингвистически мотив фантазмагоричности выражен лексикой ассоциативного поля «жизнь-сон, иллюзия»: *не мог заснуть*, цветосимволами *чёрный, синий, красный*.

Мотив обречённости превалирует в описании душевного состояния главных героев романа «Самоубийство» как ведущего аспекта репрезентации *домашнего очага* революционного времени в его оппозиции внешнего – внутреннего. В эту ассоциативно-смысловую парадигму входит одна из ключевых оппозиций «мы – они», «внутреннее – внешнее» с очевидной положительной окрашенностью первого понятия и негативной оценочностью второго: «Зимой топить будет нечем. На жалованье Мити и впроголодь жить будет нельзя. *Они* кончатся? Только на это и надежда, но до того, как кончатся *они*, кончимся мы, если не физически, то морально» [Алданов 2011: 556]. Лингвистически мотив обречённости представлен античным словосочетанием *перейти Рубикон*, семантической оппозицией «мы-они».

В прозе русского зарубежья эпизоды, описывающие домашний очаг до революции, резко контрастируют с домом революционного времени. Дом царской России благополучен, стабилен, изобилен. Ключевой образ этих описаний – праздничное дружеское застолье – выступает как единство ключевых ментальных понятий, связанных с домом: уют, тепло и свет (реализуется через символы: свеча, камин), любовь и радость (ёлка, шампанское, дружеская беседа), родина (границы дома расширяются до масштабов страны). Контраст понятий «свой–чужие» в этих эпизодах не проявляется.

В эпизодах, описывающих домашний очаг во время революции, на передний план выходит идея разрушения и последующего отсутствия *дома*, изгнание становится ключевым мотивом в творчестве писателей-эмигрантов.

Выводы по Главе 2

Проанализировав лингвистические данные, отражённые в главе 2, можно сделать следующие выводы: языковые процессы, произошедшие в Советской России после революции 1917 г. (демократизация и последовавшее за ней общее снижение стиля, словосокращение, клишированность речи, семантические изменения лексики как следствие политических и социокультурных перемен), подвергались резкой критике со стороны эмиграции.

Не поддержали представители русского зарубежья и языковую реформу, продолжив пользоваться дореволюционным вариантом орфографии.

Выступив против иностранных германских заимствований по принципу калькирования и стремясь восстановить и сохранить чистоту классического русского языка, эмигрантам, вместе с тем, не удалось сдержать проникновение в свою речь англицизмов и романизмов для наименования реалий стран пребывания.

Искоренению церковнославянской лексики у себя на родине эмигранты противопоставили её возрождение в публицистике и художественной литературе русского зарубежья, обеспечив тем самым связь с отечеством, преемственность его духовной культуры.

На фоне реальной ситуации изгнания и неопределённости понятие *дом* наполняется новым смыслом и расширяет своё значение, охватывая не только конкретное жилище, очаг, бытовое устройство и систему внутрисемейных отношений, но и родную страну и её историческое наследие.

Такая интерпретация понятия *дом* отражена в художественной литературе русского зарубежья. Описывая домашнее пространство, авторы-эмигранты обращаются к базовым символам, свойственным для характеристики домашнего очага в текстах русской классической литературы. В описаниях *дома* дореволюционного времени доминируют ностальгические мотивы благополучия, праздника, изобилия, преемственности поколений и тревожный мотив предчувствия утраты. *Дом* на фоне революции изображён как комплекс мотивов

сожаления об утраченном, фантазмагоричности, обречённости, нарушения преемственности. Внешний мир воспринимается как крайне враждебный, что усиливает контраст ментально значимых понятий *свои – чужие*. «дом – бездомье» – ключевая семантическая оппозиция, возникшая в языковом сознании эмигрантов вскоре после революции, отразилась в художественной литературе. Ключевыми становятся мотивы разрушения и изгнания. Идея дома связана исключительно с прошлым и не воспроизводится в настоящем, а идеальные представления о домашнем очаге черпаются из классических литературных образцов, неоспоримых в русской культуре.

Языковое отражение такого ключевого понятия лингвокультуры, как *дом* на пересечении исторических эпох – до революции и после неё – общественно обусловлено и представлено в литературе русского зарубежья как совокупность мотивов. Мотив представляет собой многократно повторяющийся в тексте динамический повествовательный компонент художественного произведения, который, преломляясь через авторское мировосприятие, описывает отдельный фрагмент языковой картины мира.

В художественной литературе мотив неотделим от системы авторских ценностей и особенностей мироощущения. Вместе с тем, мотив отражает определённый значимый аспект духовной культуры нации и человечества в целом, находится в тесной взаимосвязи с языковой картиной мира, во многом формируя её.

Структурно и семантически мотив пересекается с такими базовыми понятиями лингвистики как лейтмотив и концепт, но не является тождественным им.

Основные характеристики мотива в литературе:

- Динамичность;
- Неделимость;
- Семантическая насыщенность;
- Ситуативность (контекстуальность);
- Схематичность;

- Повторяемость.

Мотив реализуется на уровне слова, словосочетания, предложения (в этом случае представляет собой тема-рематическое единство), эпизода сюжета, целого произведения, всего творчества автора, культурного кода нации, языковой картины мира.

Метод мотивного анализа текста предполагает выявление повторяющихся семантически схожих композиционных элементов текста и определение часто встречающихся в них ключевых лексических единиц; раскрытие семантики и символики этой лексики, лингвистический анализ семантически взаимосвязанных фрагментов текста, содержащих повторяющиеся лексические единицы-символы; составление схемы лингвистической реализации мотива в тексте; определение взаимосвязанных мотивов, создание мотивного рисунка текста.

В Главе 2 с помощью метода мотивного анализа были установлены значимые семантические изменения слова «дом» в языковом сознании эмигрантов, отражённые в текстах художественной литературы, и определены сходства в восприятии писателями-эмигрантами связанного с этой лексемой ментального понятия.

В художественной литературе русского зарубежья описание дома дореволюционной России представлено как комплекс ностальгических мотивов благополучия и изобилия, тесно взаимосвязанного с ними мотива преемственности поколений, контрастирует с общим положительным фоном лишь мотив предчувствия. Языковая репрезентация дома в революционную эпоху отражает единство трагических мотивов разрушения и последовавшего за ним нарушения преемственности поколений, коренных изменений в быту и сознании, фантасмагоричности, обречённости.

Мотив благополучия лингвистически репрезентирован лексическими единицами со следующей общей семантикой:

- крепкий быт (*всё было хорошее, прочное; толстые стены, как за каменной стеной*);

- чистота (*всё в доме сверкало чистотой, белоснежная скатерть, важный порядок*).

Мотив изобилия символически представлен *семейным праздником и дружескими застольем*, детально описываемыми писателями-эмигрантами.

Мотивы благополучия и изобилия создают ассоциативный фон для мотива преемственности поколений, символическим выражением которого становится *семейный (чаще всего религиозный) праздник*, связующий все поколения домочадцев и лингвистически выраженный в лексемах, объединённых семантикой *радости: весёлые голоса, хохот, ёлка, шампанское*.

Негативно выделяющийся на общем положительном фоне благополучия, изобилия и преемственности, мотив предчувствия отражается в словосочетаниях, связанных следующей общей семантикой:

- нерешительность (*но всё же не решался, смутное сознание*),
- неизбежность (*нарастающая неизбежность, этого не миновать, перейти Рубикон*),
- фатальность (*страшный год, в последний раз*).

Мотив разрушения, символически представленный образом человека в *чёрной куртке*, неотделим от мотива нарушения преемственности поколений, ассоциативно представленного образом бунтующих подростков. Лингвистически этот мотив выражен определениями с негативной коннотацией (*скандалившие, буйные, дерзкие, грубившие*), фразеологизмом *отравлять жизнь*.

Мотив коренных изменений в быту и сознании ассоциируется некоторыми писателями-эмигрантами с ухудшением условий быта вплоть до разорения и обнищания и лингвистически реализуется в словосочетаниях: *всё остальное продано; неприлично пить шампанское*. Характерный для творчества лишь отдельных авторов-представителей русского зарубежья, этот мотив ярко представлен в мемуарной литературе и в произведениях писателей, живших в Советском Союзе (подробнее об этом в параграфе 3.3).

Мотив фантасмагоричности лингвистически выражается лексикой семантического поля «жизнь-сон, иллюзия»: *не мог заснуть, всё было*

неправдоподобным, всё текло передо мной, одна картина набегала на другую, цветовыми ассоциациями с чёрным, синим, красным.

Мотив обречённости представлен античным фразеологизмом *перейти Рубикон*, семантической оппозицией «мы-они».

Глава 3. Слово «дом» в русской лингвокультуре советского периода (первая половина XX века)

3.1. Русский язык революционной эпохи как отражение социокультурных изменений в русском обществе

Революционные события 1917 года привели к значимым изменениям в русском языке: упрощению норм, проникновению в повседневный речевой обиход канцеляризмов и речевых шаблонов из эмоционально-экспрессивных речей партийных деятелей, возникновению новые способы номинации предметов и явлений, появлению заимствований из немецкого и польского языка по принципу калькирования, проникновению военной терминологии в языковое сознание, использованию различных вариантов сокращений как основного словообразовательного приёма, изменению значений слов, исчезновению целого ряда терминов из языка и из общественной жизни, утрата значимости церковнославянской лексики, её переход в разряд архаизмов.

Наиболее жаркие споры лингвистов того времени разгорелись по поводу или упрощения языковых норм. Сниженный пласт лексики входит в повседневную речь молодёжи. «Многочисленный вульгаризмы и арготические слова проникали из речевого обихода матросов (*братва, клеши, буёк «голова»,* и др.)» [Грановская 2005: 203].

Пионерско-комсомольский язык и язык дореволюционного интеллигента многими лингвистами того времени определялись как два разных языка.

Тенденция к общему снижению стиля, особенно ярко проявившееся в публицистике (в агитационных газетных и журнальных статьях), отразилась и в литературном русском языке. «В конце 20-х – начале 30-х годов газетная и журнальная полемика, включившая в дискуссию и язык писателей, разгорелась вокруг использования жаргонов и «*мужицкой*» речи в художественной литературе» [Грановская 2005: 205].

Осознанная «огрубленность» – особенность, отличительная черта русской прозы 20-х годов (И.Э. Бабель, Ф.В. Гладков, Ф.И. Панферов и др.). «Использование новых пластов слов, находившихся за пределами литературной нормы и ранее не допускавшихся в художественную речь, было определено общими тенденциями в развитии языка художественной прозы» [Грановская 2005: 205].

Общее снижение стиля публицистической и художественной прозы обусловлено стремлением авторов:

- сделать газетные и литературные тексты наиболее доступными для понимания наиболее социально и политически активных в то время слоёв населения: рабочих и крестьян;

- максимально отдалить язык новой России от языка правящих классов дореволюционной эпохи;

- отразить и зафиксировать в разговорной и литературной формах существования русского языка радикальные социально-политические изменения, произошедшие в стране.

Подобные тенденции в развитии языка художественной литературы резко критиковались С.И. Бернштейном, В.В. Виноградовым, Б.А. Лариным, Б.М. Эйхенбаумом.

М. Горький защищал традицию и осуждал литературную неграмотность, выдаваемую за «мужицкую силу» [Грановская 2005: 205]. Этой же позиции придерживался Б.А. Ларин. Но вместе с тем он считал, что некоторые писатели, такие как М. Шолохов, И. Соколов-Микитов и др. диалектизмами «заполняют пустоты, пробелы литературного языка, сообщая ему органическую пластичность, колоритность» [Ларин, 1974: 238].

Художественную прозу первого послереволюционного десятилетия характеризует поиск нового стиля. Однако тенденция к отказу от традиционных норм, принятых в классической русской литературе, наблюдалась и в начале XX века.

В 20-е годы активно развивается орнаментальная проза, отличительными чертами которой стало сближение повествования со стихотворной речью, что достигалось за счёт следующих приёмов:

- звукопись;
- постпозиция определений с отрывом от определяемого слова;
- инверсия;
- синтаксический параллелизм;
- градация;
- фольклорная стилизация;
- различные виды повтора (анафора, эпифора, анадиплосис).

«Подобные приёмы создают в повествовании лейтмотив за счёт выделения ключевых слов и тем, ослабления композиционных связей. Это сообщало всему повествованию высокоость, изысканность и некоторую искусственность, не свойственную классическим типам прозы XIX века» [Грановская 2005: 319].

Следующей значимой особенностью литературы первых постреволюционных лет можно является документальность и протокольность художественной прозы. Документ становится композиционной основой текста, сближая вымысел с реальностью, придавая художественной речи канцелярскую стандартность. Этот распространённый в то время приём иронично обыгран в прозе Б. Л. Пастернака: «Любимая, безотлагательно ...», «Я объят открывшимся. Я на учёте».

Тенденция начала XX века к социальной дифференциации лексики была продолжена в постреволюционной России, причём в этот период доминировала и социально одобрялась сниженная лексика, арго и диалекты. Эти лингвистические явления проникали и в художественную речь как результат поиска нового языкового материала, способного отразить пафос революционной эпохи. Но уже в начале 30-х годов группа советских писателей (М. Горький, А. Н. Толстой) выступила с критикой этой тенденции и в защиту чистоты русского художественного слова.

В постреволюционные десятилетия в художественной литературе развиваются два противоположных жанра: биографический роман (в центре повествования – выдающаяся личность, строящая свою судьбу на фоне значимых исторических событий) и «альтернативная проза» или «вторая проза» (нет чётко определённой сюжетной линии, основу повествования составляет обезличенная речь обезличенного персонажа), возникшая, возможно, как реакция на дегуманизацию человеческой жизни.

В конце 20-х годов намечается смена тенденций и возврат к традиционным литературным нормам. Этот период развития художественной прозы можно охарактеризовать как «движение от усложнённости к простоте, нейтрализацию релевантных признаков речи» [Грановская 2005: 207].

Важной темой языковых дискуссий 20 – начала 30-х годов о культуре речи была борьба со штампами, проникшими и укрепившимися в массовом языковом сознании. А.М. Селищев подчёркивал, что «речь с шаблонными штампами не возбуждает прежних настроений. Это – «трескотня» [Селищев 2010: 148].

В.М. Жирмунский считал, что «распространение в печати слов *спайка*, *увязка*, *зажим*, *звено* связано с влиянием в эпоху диктатуры пролетариата языка рабочих» [Жирмунский 1936: 99]. К штампам, возникшим в 20-е годы, можно отнести следующие выражения, которые и в настоящее время активно используются в качестве речевых клише: «создавшаяся обстановка», «сложившиеся обстоятельства», «широкий размах». Некоторые речевые штампы замещают синонимы (*вести работу* – работать). «Теперь бесконечно склоняют слово *проработка*. На русском языке это слово имеет одно значение: проработать известное время. А наши языкотворцы заменили им такие понятия: выполнить, исполнить, решать, обсудить и вынести решение, изучить, выработать, разработать» [Презент 1931: 143-144].

Для языка периода гражданской войны и военного коммунизма характерно часто стилистически неоправданное использование патетической лексики и метафорических излишеств: «Ехал он спокойный, уверенный. И вот бессмысленный тиф скосил этот прекрасный *пролетарский цветок*»

[Луначарский 1920: 12]; «И гулким эхом отдались в Кабуле и Индии *освободительные выстрелы* тов. Раскольников» [Городецкий 1920: 28].

К значимым тенденциям развития языка того времени также относится семантически и стилистически немотивированное использование церковнославянских слов. До революции 1917 г. в общественном сознании существовал ряд абстрактных понятий нравственно-религиозного характера, церковнославянская лексика проникала в разговорную речь через церковную обрядность, язык богослужений, религиозную литературу. С ослаблением роли церкви изменились и семантика, и сфера использования этого пласта лексики.

Церковнославянская лексика в этот период переходит в разряд архаизмов, изменяет значение, либо и вовсе исчезает из языка, что объяснялось стремлением новой власти исключить влияние церкви не только из общественно-политической жизни страны, но и из речевого обихода. Важным словообразовательным изменением стало сокращение слов с первым корнем благо- и бого-, изменение их стилистической окраски. В новых словарях значения этих слов отражаются с пометкой «дореволюционное», «ироничное», «церковное», например:

«Благонадёжный – 1) церк. исполненный надежды; 2) тот, на кого можно основательно надеяться; 3) не заподозренный в противоправительственной деятельности (дореволюц., офиц.); 4) заслуживающий доверия (разг.)» [Ушаков 2008: 168].

По наблюдениям Л.М. Грановской, «из активного употребления вышли следующие лексемы:

- благовременный (сделанный или случившийся в надлежащее время);
- благодарительный (содержащий в себе благодарение);
- благодерзновение (похвальная и полезная смелость);
- благожизненный (безбедный) [Грановская 2005: 225].

Обрядовая лексика (*обручение, венчание, молебен, обедня, исповедь, причастие, отпевание*) и названия предметов церковного обихода (*хоругвь, ряса, подрясник, евангелие, приход, прихожанин, паперть, ряса, подрясник*) перешла в пассивный словарный запас.

Библейские аллюзии (Гефсиманский сад, Голгофа, Назарет, софийский, галилейский, бенедиктинский и др.), на которых в художественной литературе до революции строился эмоционально-оценочный контекст, утрачивают свою значимость и ассоциативность и в новой советской прозе почти не употребляются (за исключением произведений М.А. Булгакова, Б.А. Пастернака, о чём речь пойдёт в Главе 3, параграфе 3.3.).

«Патетика публицистического стиля и ориентация на старые канцелярские формулы как показатель образованности и приобщения к культуре обуславливает сохранение в новой исторической эпохе целого ряда церковнославянских слов, например: *иже с ним, грядёт, узреть, зиждется, всуе, вкупе и влюбё* и др. органично вошли в пропагандистскую литературу 20–30-х годов» [Грановская 2005: 212].

Не менее важной тенденцией стало активное проникновение в языковое пространство аббревиатур. Оценка лингвистами этого явления была не однозначна. «Их-то, главным образом, если не исключительно, и имеют в виду, когда говорят о революции в языке» [Карцевский 1923: 69].

Сложносокращённые слова начали появляться в языке до революции 1917 года для наименования воинских должностей и званий (Главковерх, командарм, наштакор, дегенарм, штабад, коринт, комбродив, комфлот и др.), фронтовых учреждений (военмин, штакор, ГАУ), общественных учреждений (ДОД, земгор), акционерных обществ и торговых компаний (Продамет, Продуголь, Юротат, РОПИТ), политических партий (кадет, эсер, энес, эсдек и пр.) [Грановская 2005: 212-213].

С критикой стихийного распространения аббревиатур в это время выступили А.П. Баранников, А.Г. Горнфельд, Л.В. Щерба: «Многие сокращения непонятны, их надо растолковывать, они вызывают побочные ассоциации, частью это жаргон, который удобен и целесообразен в своей среде, но за её пределами эти слова становятся инородными телами, мешающими целесообразному функционированию этого языка» [Цит. по Грановской 2005: 215].

Активизацию лингвистического процесса аббревиации защищал Г.О. Винокур: «Сокращения наши есть составная часть современного русского языка и выполняют <...> свою культурную функцию» [Винокур 1924: 139]. Языковед отмечал заметную семантическую наполненность и словообразовательную активность сокращений.

Важно отметить, что ранее существовавшие в языке аббревиации после революции меняют свою коннотацию с нейтральной на негативную, например: *эсер*, *кадет* оказываются в синонимическом ряду «враг», «предатель», под словом *кадеты* понимается уже не политическая партия, а «белые правительства и их войска». Вместе с тем полное наименование «социалист-революционер», «конституционный демократ» сохраняют свою нейтральную семантику.

Следующая немаловажная тенденция в развитии русского языка в 20-е годы – стилистические перемещения слов, во многом определяемые социально-историческими изменениями в стране. Так, «вошедшее в армейский речевой обиход в феврале 1917 года изначально нейтральное слово *комиссар* со значением «полномочный представитель», уже после Февральской революции приобрело негативную коннотацию. Отрицательно окрашенными стали слова *буржуазия*, *буржуазный*, слово *буржуа* переродилось во враждебно-насмешливое *буржуй*». [Грановская 2005: 219].

В 20-е годы наблюдалось стилистическое перемещение некоторых нейтральных слов. Так, слова *сборище*, *красивость*, *писание*, *зачинщик*, *пособник*, *деяние*, *моралист*, *водиться* окрашиваются отрицательно. За словом *элемент* закрепляется значение «лицо против власти», за словом *казённый* – «формальный, бездушный», а не «принадлежащий казне». Прилагательные *роскошный*, *шикарный* теряют значение ценности, становятся положительными эмоционально-оценочными определениями (роскошное дерево, роскошная селёдка, шикарный дуб, шикарный вечер). В эти годы слово *террорист* несёт положительную коннотацию, становится в один синонимический ряд с понятиями «революционер», «борец».

Если в 20-е годы слово *вождь* активно используется в речи для именовании заметных лидеров революционного движения («Вождь Красной Армии т. Троцкий, «вожди Интернационала»), то в 30-е годы это именование могло относиться только к И.В. Сталину.

Примечательно изменение значений глаголов *работать*, *служить*, *трудиться* и соответствующих существительных *работа*, *труд*, *служение*. Если до революции *работать* означало «совершать физические действия на физический предмет», то в 20-е годы это слово теряет значение тяжёлых физических усилий и становится, начинает употребляться для описания любого вида профессиональной деятельности и становится нейтральным в ряду синонимов *работать*, *служить*, *трудиться*. Слово *служить* уходит из активного употребления в речевом обиходе, его значение сужается до «безусловно подчиняться и предаваться известному предмету». Напротив, глагол *трудиться* и существительное *труд* становятся более частотными, чем в дореволюционное время, идеологически окрашиваются и становятся важной лексической единицей в политической агитации и формировании новой языковой картины мира советских людей.

В этот период происходит нейтрализация ранее негативно окрашенных лексем: *верхушка*, *вожак*, *увязать* (согласовать), *беспрерывно*, *жильё*. Слово *азиатский* утрачивает свою отрицательную оценочность «некультурный, отсталый, варварский, жестокий», лексемы *азиатизм* и *деспотизм* не являются более синонимичными.

Напротив, из нейтральной лексики в книжную переместились слова *вследствие*, *избрать*, *импонировать*, *импульсивный*, *инертный*, *соотечественник*, *третировать*, *утрировать*, *фатальный*, *чрезвычайный*.

В разряд официально-канцелярской лексики перешли такие языковые единицы, как *вменить*, *воспретить*, *оповестить*, *отбыть*, *таковой*, *уведомить*, *местожительство* [Грановская 2005: 235].

Многие ранее нейтральные слова стали именовать явления партийно-административной и общественной жизни: *ячейка* (партийная организационная

группа), *звено* (часть пионерского отряда), *попутчик* (беспартийный, но сочувствующий коммунистической партии), *чистка* (исключение из партии неподходящих членов), *изоляция* (тюрьма), *аппарат* (органы правления), *уплотнение*, *самоуплотнение* (сокращение размеров и площади жилья), *расписаться* (вступить в брак), *лимон* (миллион).

«Аббревиатура *НЭП*, изначально означавшая «новая экономическая политика», вскоре получила новое толкование: 1) спекуляция, 2) новые буржуазные слои» [Селищев 2010: 193-196].

Важное значение в революционные годы имеет символика цвета. «Осенью 1918 года в советской печати, а позднее – в языковом сознании населения Советской России для обозначения двух противоположных лагерей в гражданской войне закрепляется оппозиция красные-белые, последними именуются все силы, оказавшие вооруженное сопротивление большевикам» [Душенко 1996: 252-255].

Символика цвета в этот период «как никогда прежде ярко передаёт изменения в политической системе, в общественном и речевом сознании. *Белый* во время гражданской войны означало «поглотивший все цвета спектра», т.е. политические различия» [Грановская 2005: 219].

Кроме того, «в зависимости от политической позиции людей семантическое наполнение слова составляли или негативно-оценочные элементы «самодержавный, царский, реакционный, контрреволюционный (в советском языке), или позитивно-оценочные: «защищающий старый режим, антиреволюционный, направленный на подавление революции» (в языке людей, не принимавших советскую власть)» [Зеленин 1999: 76-80].

После окончания гражданской войны, слово *белогвардеец* не перешло в разряд историзмов, а даже расширило своё значение:

- 1) тот, кто уехал из России вместе с белой армией;
- 2) скрытый противник новой советской власти;
- 3) сторонник и защитник монархического строя.

Определение *белогвардейский* входило в состав следующих словосочетаний политического и агитационного дискурса новых советских лидеров с исключительно отрицательной коннотацией: *белогвардейско-эсеровская сплетня, белогвардейско-бандитские шайки, белогвардейско-эсеровские мятежи, белогвардейско-фашистский выстрел в Кирова*.

Производное от «белая гвардия» слово с собирательным значением и резко негативной оценочностью – белогвардейщина – активно употреблялось в речевом обиходе того времени в следующих значениях:

- 1) совокупность всех белогвардейцев или сторонников монархии, старого режима;
- 2) эмигранты, уехавшие за границу с белыми армиями [Зеленин 1999: 82].

Конструкт *-щина-* в данном слове выполняет экспрессивную функцию, подчёркивая и усиливая коннотации, присущие слову «белогвардеец», но не были заметны на словообразовательном уровне. Негативно-пренебрежительная оценочность звучит и в других производных: *белогвардейка* (женск. к белогвардеец), *белогвардейчик* (сын белогвардейца).

Когда в слове *белый* окончательно сложилось значение «контрреволюционный, враждебный советской власти, советскому общественному строю», в русском языке послереволюционной эпохи началась его бурная словообразовательная активность в составе других обозначений: *беломонгольские отряды, белоармейская дизертирская шайка, белобандиты, белобандитизм, финские белобрехуны, белоармия, белодворянский, белоденикинский, белоинтервенционистский, белоказаки, белоказацкие отряды, белоказачьи полки, белокарельская авантюра, белопанская Польша, белополяки, белочехи, белофинны, белоэстонцы, белояпонцы, белоэмигрантская свора*.

Итак, в Советской России во время и после гражданской войны в политическом контексте это прилагательное замещало все другие названия, «служило универсальным номинативным средством, обозначая врага вообще: его использование избавляло от необходимости задумываться об «оттенках»

политических оппонентов, искать более точные словесные и политические характеристики» [Зеленин 1999: 83].

Синонимичным слову «белогвардеец» в первые послереволюционные годы было наименование «золотопогонник» (от словосочетания «золотые погоны» офицеров царской армии. Эта метонимическая номинация оказалась продуктивной в словообразовательном плане: *золотопогонные генералы, золотопогонные банды, золотопогонные сынки помещиков и фабрикантов.* [Зеленин 1999: 84]. Зачастую эти эпитеты использовались в советской печати для обозначения добровольческой армии Деникина, а в политическом дискурсе – для создания «образа врага».

Таблица 3. Семантика слов *красный* и *белый* в революционную эпоху в Советской России

Семантическое поле	Характеристика	
	<i>красный</i>	<i>белый</i>
Свой-чужой	дружественный, свой	враждебный, чужой
Власть	освободительный	тиранический, самодержавный, царский
Закон	справедливый	насильственный
Развитие	прогрессивный, новаторский	реакционный, контрреволюционный
Время	новый	старый

В русском языке Советской России в культурно-семиотической оппозиции *красный* – *белый*, равнозначной антагонизму «мы – они», «свои – чужие», положительную окраску носит первый элемент при негативной оценочности второго.

Метафорические цветообозначения широко используются в художественной литературе того времени: «Нам ни красных, ни белых, ни зелёных, ни зрелых, Кубань сама по себе» [Калинин 1926: 312].

За *чёрным* цветом надолго закрепляется «негативное значение «анархистский», «контрреволюционный», в этом понимании смешиваясь с *белым*:

чёрная среда – спекулянты, *чёрная гвардия*, *чёрногвардейцы* – вооружённые отряды анархистов» [Грановская 2005: 220].

Прилагательные, обозначающие цвета, функционировали в самых различных сочетаниях:

- Красно-зелёные (революционная боевая организация на Дону, Кубани и Чёрном море);
- Жёлто-голубые (украинское контрреволюционное движение);
- Зелёные (крестьянские и дезертирские отряды, выступавшие против большевиков и белого движения, одинаково негативно оцениваемые двумя противоборствующими сторонами);
- Бело-зелёные (контрреволюционное движение в Сибири).

Символика цвета с политизированным значением отражена и в художественной литературе того времени: «Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет-с, нет-с, не поможет, какой бы он ни был: белый, красный или даже коричневый!» [Булгаков 2000: 15].

Существенным семантическим изменениям подверглись и ключевые лексемы политического дискурса: *правые*, *левые*, *центристы*. За словом правый закрепилась исключительно негативная коннотация: «реакционный, консервативный, враждебный передовым течениям в политической и общественной жизни» [Ушаков 2008: 638].

Понятие «левый» после революции получило неоднозначную трактовку:

- «позитивную (радикально настроенные политические силы в буржуазных парламентах, странах, поэтому) там же,
- негативную (радикальный только по внешности, характеризующийся мнимой, показной, мелкобуржуазной революционностью)» [Ушаков 2008: 361].

От последнего значения в русском языке возник ряд производных с отрицательной коннотацией: *левак*, *левацкий*, *левачество*, *левизна*.

«В 20-е годы понятие «центр» было прочно «привязано» к зарубежной действительности и идеологически дискредитированным <...> центристы расценивались как «беспринципные», «бесхребетные», «безыдейные»

соглашатели, которых именно их «промежуточность» может завести «в правое болото» [Зеленин 2000: 99].

Значимой словообразовательной тенденцией первых лет существования Советской России была активизация префикса *анти-*: *антигуманизм, антидарвинизм, антиинтеллектуализм, антимарксизм, антииндустриализм, антимилитарист, антиколхозный, антипролетарский, антидогматический*. Высокий словообразовательный потенциал приставки *анти-* в 20-е годы объясняется её способностью резко противопоставлять новые революционные явления старой российской действительности. Неологизмы с этим префиксом появлялись в социально-политическом дискурсе (*антиимпериалисты, антимеханизаторы, антинародный*), в футуристической литературе для выражения полярности понятий и прямолинейности оценок (*антирождественский, антицветавец, антиэстетизм*), в научной сфере в интернациональной терминологии (*античастица, антипротон, антинейтрон*).

Характерным для революционного времени способом словообразования была также префиксация с приставкой *архи-* (особенно часто в речах В.И. Ленина): *«архиреакционный, архиреволюционный, архизаконный, архисущественный, архиневверно, архитяжёлый, архиневверно, архиважный*. Вслед за вождём, и другие революционные лидеры начинают использовать приставку *архи-* в самых порой неожиданных сочетаниях с прилагательными: *алхиликвидаторский, архиестественный, архибуржуазный, архитонкий*, а в повседневном речевом обиходе слова с этим префиксом звучали порой комично: *архибандит, архи-как скверно*» [Селищев 2010: 129].

В целом словообразование в русском языке в 20-е годы тяготело к немецким моделям:

- Приставка *сверх-* (соответствует немецкой *über-* или *ober-*): *сверхлевый, сверхцентрализм, сверхглупость*.
- Словосочетания с предлогом *от* с указанием свойства предмета, на его отношение к другому предмету (не на пункт отправления), что соответствует немецкому *von*: *рабочий от станка, крестьянин от*

сохи, стихотворения от современности, слабонервные гувернантки от литературы.

- Словосочетания-кальки с немецкого языка: *в общем и целом* (im grossen und ganzen), *целиком и полностью* (ganz und voll), *сегодняшний день* (der heutige Tag)
- Суффикс -изм, ранее встречавшийся только в составе заимствований, начинает сочетаться и с русскими корнями (хвостизм, боевизм, большевизм, царизм) и с именами собственными (ленинизм, сталинизм, троцкизм, фрейдизм).

Критике обилия иностранных слов противостояло лингвистическое обоснование необходимости их употребления. «Авторы книг и статей терпеливо объясняют массовому читателю, что иностранные слова удобны, потому что заменяют целые словосочетания (концессия вместо: «сдача иностранному капиталисту в эксплуатацию какого-либо предприятия»), они нужны, потому что соответствующих понятий нет в русском языке: пролетариат, революция, коммунизм, партия, капитал, империализм, Интернационал» [Грановская 2005: 200].

В эпоху революции значимой формой речевого взаимодействия являлась политическая агитация и пропаганда, поэтому эмоционально-экспрессивная функция языка имела в то время огромное значение. Лозунги – один из видов эмоционально-императивного речевого воздействия – слышны отовсюду: «Да здравствует...!», «Долой ...!».

В речах революционеров особенно часто встречаются следующие экспрессивные речевые формы:

- Сочетания с повторами («Не может не быть единения народа с властью». «Эти затруднения требуют, несомненно, большей сплочённости, несомненно, большей дисциплины, несомненно, более дружной работы». [Селищев 2010: 125].
- Обращения. Чаще других – «Дорогие товарищи, ...»

- Имена прилагательные в превосходной степени. «Широчайшие массы», «тягчайшие испытания», «самые гнусные инсинуации», «максимальнейшая активность».
- Эпитеты выражения величественности и колоссальности: *неслыханный, небывалый, гигантский, титанический, чудовищный*.
- Категорические утверждения и отрицания: *вся и все, везде и всюду, весь мир, нигде в мире нет, мировой масштаб*.
- Стилистические средства, основанные на переносе значения для создания образности речи. «вооруженный до зубов хищник-империалист», «забрызганный в горячей крови алчный капиталистический зверь», «крик ненависти к нам несётся из-под буржуазных крыш» [Селищев 2010: 127-134].

Многие общеупотребительные слова в революционном дискурсе употребляются в несвойственном им до этого переносном значении, которое надолго закрепляется в языке:

- линия (образ действия, курс, направление): линия партии, линия на большевизацию, генеральные линии;
- ударение, акцент (особое внимание, особая значимость): сделать ударение, акцент на чём-либо;
- переплёт (совокупность обстоятельств, условий): попасть в переплёт, в переплёте событий, в международном переплёте;
- изжить (устранить): «Этот кризис будет изжит» [Селищев 2010: 134-136].

Параллельно с обогащением словарного состава языка новыми лексемами и переосмыслением значений уже существующей лексики протекал и процесс замены слов, связанных с дореволюционной общественно-политической жизнью, лексемами, характеризующими новую систему государственного устройства. Таблица 4 иллюстрирует данный лингвистический процесс.

Таблица 4. Замена терминов, связанных с дореволюционной общественной жизнью.

<i>Сфера употребления</i>	<i>Дореволюционный термин</i>	<i>Новая лексика</i>
Государственное управление	казённый	государственный
	податный инспектор	финансовый инспектор
	полиция, полицейский	милиция, милиционер
	околоточный	участковый
Медицина	сестра милосердия	медицинская сестра (медсестра)
	фельдшер, фельдшерица, фельдшерский	лекпом
Образование	классный наставник	классный руководитель
Судебная система	адвокат	защитник
	стряпчий	обвинитель
	арестант	заключённый
	судебный пристав	судебный исполнитель

Исчезла из речевого обихода лексика, обозначающая:

- придворные чины и должности (*церемониймейстер, италмейстер, егермейстер, фрейлина, статс-дама, камер-юнкер, камергер*);
- титулы (*великий князь, герцог, граф, барон*) и обращения к ним («*Ваше Величество*», «*Ваше Сиятельство*», «*Ваше Высочество*», «*Ваша Светлость*», «*Ваше Благородие*»);
- органы административного управления (*советник, городской, исправник, градоначальник, полицмейстер, столоначальник, экзекутор*);
- военные звания (*ротмистр, есаул, поручик, корнет, хорунжий, вахмистр, урядник*);
- названия учащихся различных дореволюционных учебных заведений (*гимназист, реалист, семинарист, универсант, институтка, лицеист, курсистка*);

- предметы и явления буржуазно-дворянского быта (*будуар, ротонда, раут, реверанс, журфикс, сонетка, амбре*);

- названия лиц, обслуживающих людей высшего сословия (*гувернёр, гувернантка, бонна, компаньонка, камердинер*).

Революционные события 1917 года оказали значительное влияние на развитие русского языка на различных уровнях: лексическом (новые способы номинации и словообразования, изменение значений слов, утрата целых пластов лексики), морфологическом (упрощение грамматических форм), синтаксическом (с одной стороны – упрощение синтаксиса в повседневной и литературной речи, с другой – использование эмоционально-экспрессивных синтаксических конструкций в публицистике), стилистическом (шаблонность речи, немотивированная патетика революционных речей и текстов периодических изданий).

3.2. Слово «дом» в лингвокультуре советского периода (первая половина XX века)

В 1920-1930-е гг. активно вытеснялись на языковую и культурную периферию следующие значения слова «дом»:

- династии (дом Романовых, царский дом, династический дом);
- особые организаций благотворительного характера (ночлежный дом, сиротский дом, странноприимный дом, дом призрения);
- учреждения увеселительного типа (питейный дом, дом терпимости, картёжный дом, игорный дом);
- семейные торговых предприятий (торговый дом, банкирский дом, дом купцов Елисеевых).

Дом утрачивает своё значение центра семейного очага, защищенного *своего* жилища в отличие от *чужого* мира. Из языкового сознания того времени уходят ассоциации дома с пространством, где сосредоточены уют, тепло, комфорт, важные для конкретного человека; с местом эмоциональной привязанности личности. Само слово «дом» уходит из активного употребления в речевом обиходе, уступая место более частотным с то время, но менее эмоционально окрашенным лексемам «жилплощадь», «квартира», «уплотнение», «самоуплотнение».

Происходит расщепление понятия «дом» на частные составляющие:

- Органы самоуправления: *домком* (домовой комитет), *домуправ* (управляющий домом);
- Культурно-просветительские учреждения: (*дом крестьянина*, *дом культуры*, *дом искусств*).
- Место постоянного пребывания определенных социальных групп: *детдом* (детский дом), *домзак* (дом заключения).

Серьёзные семантические изменения коснулись лексики, ассоциативно связанной с понятием «дом». После революции из повседневного речевого обихода исчезают многие слова, связанные с понятием *дом*. Наиболее активно архаизируются лексемы из семантического поля «приём пищи»: *байдаковский*

пирог (огромная кулебяка с начинкой в девять ярусов, где было всё, начиная от слоя налимьей печёнки и кончая слоем костяных мозгов в чёрном масле [Елистратов 1997: 40]), *аршин* в значении «грубая на вкус большая селёдка» (просторечие), *астраханка* (астраханская селёдка), *драчёна* (распространённое в простонародной среде блюдо из яиц, молока и муки или картофеля) [Елистратов 1997: 151], *габерсуп* (похлёбка из овсянки), *няня* в значении «мясной пирог», *пополамный растегай* (разновидность изысканного растегая), *шептала* (сушёные персики или абрикосы с косточками) [Елистратов 1997: 578].

Ослабление роли церкви в общественной жизни приводит к отмиранию лексем, связанных с религиозными обрядами: *гречневик* (*грешник*) – постный блин из гречневой муки [Елистратов 1997: 124], *калья* – постная похлёбка из огуречного рассола, куда добавлялись огурцы, свёкла, икра и рыба [Елистратов 1997: 200]; *коливо* – кутья, поминальная и постная каша, в которую обычно входили пшеница, горох, рис, мёд и изюм [Елистратов 1997: 225], *цареградский стручок* – разновидность популярных в Москве постных сладостей; *пасхальная баба* – сдобный кулич, традиционно приготавливавшийся на пасху [Елистратов 1997: 362]. «Исчезает семантическое поле «дом – храм, «дом – воплощение самого человека» [Макарова 2022: 475].

Исчезают из языкового сознания названия блюд, широко распространённых в высших слоях общества: *антре* (закуска, первое блюдо), *арме* (сладкая яичница с вымоченной в молоке булкой [Елистратов 1997: 33]), *архиерейская* (описательное наименование высококачественной свежей зернистой икры, преподносившейся, в частности, архиереям [Елистратов 1997: 35]), *бомарше* (разновидность густого соуса, подаваемого обычно к рыбным блюдам), *Мари-Луиз* (род изысканного супа), *прентаньер* (разновидность изысканного «супа с корнями» [Елистратов 1997: 407]), *тюрбо* (разновидность изысканного рыбного блюда), *птифур* (разновидность печенья), *маседуан* (фруктовый салат, приправляемый винами и соусами [Елистратов 1997: 283]), *оршад* (прохладительный напиток из миндального молока с сахаром); а также лексем, связанные с проведением застолий: *птижэ* (приём), *блюсти сезон*

(придерживаться кухни, блюд соответствующего сезона [Елистратов 1997: 468]), *закусочная горка* (столик для закуски), *обед для разных* – в относительно богатых – дворянских и купеческих – домах обед для всех: челяди, работников, дворовых и т.п. обычно такой обед устраивался сразу после Рождества [Елистратов 1997: 330].

Архаичными становятся слова, обозначающие различные сорта вин: *люнель*, *марсала*, *нюи*, *помар*, *шато-икем*; шампанское *редер* (или *редерер*) и определения, связанные с ним: *настоящее* (в купеческой среде), *холодное* или *холодненькое* (шутливо об этом напитке). Также исчезает лексема *пенник* – пенное вино (хлебное), а также в общем значении *спиртное*, *хмельное* [Елистратов 1997: 364].

Особое место в русской лингвокультуре занимает чаепитие. После революции эта традиция заметно упрощается, вытесняются на периферию лексемы, обозначающие сорта чая: *жемчужный* (одна из разновидностей изысканных сортов), *кирпичный* (самый дешёвый, продававшийся в прессованных «кирпичиках» – плитках), *ханский*, *кантонский*, *ямайский*, *куанг-су*, *сиофаюн*; способы чаепития («с прохвала», «с прохлаждением») [Елистратов 1997: 420, 421], а также понятие *китаизм*, обозначающее удовольствие, получаемое от чая [Елистратов 1997: 214]. Дореволюционное чаепитие неизменно ассоциировалось с самоваром, который имел много имён: *туляк* (тульский), *складной* (дорожный) – предназначенный для пользования в пути), *будан* (большой), *крошка* (маленький), *семейный* (средний по объёму) [Елистратов 1997: 476]. Ласково самовар именовался *невунчиком*.

Вследствие ликвидации частной собственности в годы революции и последовавшим «уплотнением», исчезает из языкового сознания лексика для наименования различных комнат в доме: *антре* – парадный подъезд, *диванная* – одна из комнат в традиционном старом дворянском и вообще – достаточно богатом доме [Елистратов 1997: 142], *зимний сад* – помещение в доме, обставленное живыми растениями и деревьями, *простая* – комната в богатом купеческом доме, в отличие от парадной [Елистратов 1997: 417], *чайная* – специальная комната для чаепитий. С этим же процессом связано исчезновение

лексем, обозначающих прислугу, например: *барская барыня* – прислуга, горничная, приживалка, ключница и т.п., играющая в барском доме важную роль, фактически хозяйка дома [Елистратов 1997: 45]; *тиголка* – горничная при барских домах, домашняя работница [Елистратов 1997: 373].

Устаревали также и слова, относящиеся к понятию «дом» в его значении «устройство быта»: предметы мебели, домашняя одежда и аксессуары (*помпадур*, обозначавший мешочек для дамского рукоделия и низкое мягкое кресло со сплошными подлокотниками [Елистратов 1997: 396], *визитка* – женское платье, обычно шёлковое, предназначенное для визитов, *дульет*, *дульетка* – просторная домашняя распашная одежда на вате, крытая, как правило, шёлком, так как была деталью дворянского быта, ориентированного на европейские образцы) [Елистратов 1997: 153].

С исчезновением имущественных прав на жильё отмирают лексемы, обозначающие сам дом – *отчина* – и его наследников – *дедич* и *дедичка*. Уходят из повседневного речевого обихода слова, связанные с подготовкой к заключению брака: *сваха*, *сговор*, *смотрины*. Теплота семейных отношений также нарушается, забываются ласковые прозвища: *светик*, *пампуша*, *счастье моё миндальное* [Елистратов 1997: 504]. В революционной кутерьме забывается речевой оборот, синонимичный душевной уравновешенности – «сердце дома».

Произошедшее после революции 1917 г. обобществление частной собственности привело к нивелированию в языковом сознании истолкования понятия дом как личного жилого пространства. Основными значениями этого слова «дом» в постреволюционное время становятся:

1. Здание, помещение, строение, «предназначенное для размещения различных учреждений, часто профессионального типа: дом архитектора, дом литератора, дом журналиста, дом композиторов, дом инженера и техника» [Макарова 2022: 474].

До 20-х годов существовал также эвфемизм «дом лишения свободы» – словосочетание, используемое для номинации тюрьмы. *дом на Лубянке* – эвфемистическое наименование Комитета государственной безопасности. Основа

дом также входила в состав советских аббревиатур, именующих исправительные учреждения: *исправдом, исправтруддом, труддом*.

2. Воспитательное государственное учреждение.

- *дом ребенка (детский дом)* – воспитательное учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей.
- *дом матери и ребенка* – специальное учреждение охраны материнства и детства, предназначено для отдыха трудящихся женщин во время отпуска по беременности и в послеродовой период [Мокиенко 1998: 225].

Существовали также многочисленные центры внешкольной учебно-воспитательной работы с учащимися: *дом детского творчества, дом комсомольца и школьника, дом молодежи, дом пионеров, дом студента*.

3. Культурно-просветительное, научное, бытовое и т.п. государственное учреждение, а также здание, в котором оно находится.

- *дом офицеров* – учреждение, которое проводит идейно-политическую, культурную работу среди офицеров, генералов, адмиралов и их семей и служит местом их отдыха.
- *дом боевой и трудовой славы* – то же, что музей боевой и трудовой славы.
- *дом политического просвещения* – учреждение системы политического просвещения КПСС, оказывающее теоретическую и методическую помощь пропагандистам и слушателям.
- *дом работников просвещения. дом учителя* – культурно-просветительное учреждение работников системы народного образования.
- *дом быта* – крупное учреждение системы службы быта.
- *дом культуры* – культурное клубное учреждение.
- *дом колхозника* – учреждение, организуемое обычно в городе для приезжающих колхозников.
- *дом народного творчества* – для руководства и помощи художественной самодеятельности были организованы дома народного творчества.

4. Учреждение торговли: дом новосёла (специальный магазин с товарами для въезжающих в новые квартиры), дом обуви, дом книги, дом тканей.

5. Санаторно-курортное учреждение: дом отдыха, дом выходного дня, дом здоровья.

«Слово «дом» для номинации крупных учреждений, занимавших обширные здания часто заменяла лексема *дворец*: *дворец бракосочетаний, дворец культуры, дворец пионеров, дворец молодежи, дворец труда, дворец профсоюзов, дворец здоровья, дворец книги* (библиотека), *ледовый дворец* (спортивный комплекс с крытой ледяной площадкой), *подземный дворец* (подземный вестибюль станции метрополитена)» [Макарова, 2022: 474].

В сельской местности подобным изменениям подверглось слово *изба*: до революции означавшая «крестьянский дом», в Советской России эта лексема получает новое политическо-просветительское звучание (*красная изба* – помещение для проведения пропагандистской работы на селе, *изба-читальня* – читальный зал в помещении крестьянского дома [Мокиенко 1998: 225]). Основное значение слова *изба* архаизируется, типичный для неё бытовой уклад уходит в прошлое и становится частью истории, этот процесс отражает новое явление – *изба-музей* – музей в крестьянском доме, демонстрирующий уже забытое устройство традиционного деревенского быта. Подобным же образом изменилась семантика слова *хата*: *хата-читальня, хата-лаборатория* (лаборатория, оборудованная в крестьянской избе) [Мокиенко 1998: 638].

С приходом революции в повседневный речевой обиход прочно входят понятия «подселение», «уплотнение» в значении заселение жилого пространства более плотно, большим количеством жильцов [Мокиенко 1998: 623]. На смену понятию *дом* в значении «жильё» приходит слово *квартира* и новое, ставшее на долгие годы типичным для Советской России явление – *коммунальная квартира* или *коммуналка* («квартира, предоставляемая городским хозяйством и занимаемая несколькими семьями-съёмщиками» [Мокиенко 1998: 234]). Жильцы подобных квартир именовались *квартирантами*. Заведовал квартирным хозяйством *квартхоз*. Возникают понятия *жилплощадь, жилая площадь, общая площадь*

(«коридоры, кухня, туалет, ванная в коммунальной квартире» [Мокиенко 1998: 444]. *Площадь* иногда употребляется как синоним слову *жильё*: «он был намерен переселиться на юг и охотно поменялся бы площадью» [Мокиенко 1998: 444].

В лексике, ассоциативно связанной с понятием *дом*, произошли существенные структурно-семантические изменения. Так, словом *места* стали именовать провинциальные населённые пункты, провинцию.

Лексема *хозяйчик* (вместо дореволюционного «хозяин») приобрела значение «частный владелец, кулак». При этом основное значение слова *хозяин* (собственник, владелец) перемещается на языковую периферию. После революции эта лексема употребляется метафорически для патетического наименования советского человека: «подлинный хозяин своей страны» [Мокиенко 1998: 641]. Для обозначения руководителя хозяйственной деятельностью в новой советской стране используется слово *хозяйственник*. Лексема *хозяйство* употребляется как синоним слова «экономика», а также в значении «сельскохозяйственная производственная единица с орудиями и средствами производства, угодьями, скотом» [Мокиенко 1998: 642].

За словом *уголок* в советской речевой практике закрепилось значение «место отдыха». В описаниях *дома* цветосимвол *белый*, связанный со светом, языковом сознании жителей новой России был вытеснен *красным*, который теперь обозначал «относящийся к революционной деятельности, к советскому социалистическому строю». Знаменательно также и изменение семантики словосочетания *красный уголок*: до революции 1917 года обозначавшее «наиболее почётное место в доме, где находились иконы» [Ожегов, Шведова 2016], позднее изменило своё значение на «помещение, предназначенное для проведения пропагандистской и культурно-просветительской работы» [Мокиенко, Никитина 1998: 617]. На севере страны в повседневную речевую практику входит словосочетание *красный чум* – «специальный передвижной чум, оборудованный для ведения пропагандистской работы в районах Крайнего Севера» [Мокиенко 1998: 664]. Семантически тождественными становятся сочетания *Ленинский уголок* (Ленинская комната, ленкомната), *пионерский уголок*, *уголок боевой славы*.

Слово *очаг*, до революции входившее в ассоциативное поле дом, теряет семантическую связь с этой лексемой, на передний план выходят следующие значения: «источник распространения чего-либо, центр, средоточие (*очаг культуры, очаг здравоохранения*)» [Макарова 2022: 475], появляется и совершенно новое значение: «распространённое в 30-е годы в СССР наименование воспитательных учреждений для детей дошкольного возраста» [Мокиенко 1998: 412].

Те же процессы коснулись и семантической группы «семья», входящей в понятие *дом*: лексемы, обозначающие родственные отношения, патетически употребляются для обобщённого обозначения социальных групп разных возрастов: *внуки революции* (молодое поколение Страны Советов), *внуки Ильича* (пионеры), *дети партии* (комсомольцы), *дети разных народов* (общее наименование представителей различных национальностей). Мошенники, аферисты, самозванцы иронично называются *детьми лейтенанта Шмидта*.

Слово *детские* употребляется для обозначения того, что создано чьими-либо трудами, заботами. Понятие *колыбель*, ранее имевшее конкретное бытовое значение детской кроватки в годы революции получает переносное значение места возникновения чего-либо и начинает патетически употребляться в составе перифразы, ставшей впоследствии клише, – «колыбель революции». Слово *семья* как общность малой группы людей, к которой личность чувствует свою причастность, заменяется новыми социалистическими явлениями: коллектив, коммуна (группа лиц, объединившихся для совместной жизни на началах общности имущества и труда [Мокиенко 1998: 265]).

Если раньше уют ассоциировался с предметами декора и интерьера, то в 20–30-е годы наличие в доме непрактичных предметов осуждается, появляются термины *вещизм, вещьепоклонство* – повышенный интерес к вещам, к обладанию ими в ущерб духовным интересам. Основным декором социальных учреждений становится *стенная газета (стенгазета)*.

Изменяется и семантическая группа «совместное проведение досуга»: лексему *приём* в значении «собрание по случаю какого-либо события, памятной

даты, для дружеского общения, совместного проведения досуга» заменило слово *вечер*.

В домах нового революционного типа появились свои предводители – *домоуправляющие* (домоуправы, управдомы) – и органы поддержания порядка – *домоуправления*, внутридомовые общественные организации – просуществовал ЖАКТ – жилищно-арендное кооперативное товарищество (просуществовало до 1936 года), а также *жилотдел*, *жилуправ*, *жилкомиссия*, *жилтоварищество*, *ЖКК* (жилищно-коммунальная контора), *ЖКО* (жилищно-коммунальный отдел) и пр.

На фоне радикальных общественно-политических перемен в России коренным образом трансформируется семантика слова «дом»: становится архаичной лексика, объединённая семантикой «бытовое устройство» (помпадур, дульет, чайная, и др.), «питание» (калья, антре, обед для разных и пр.). В семантической структуре слова «дом» значение «своего, закрытого от чужого мира, личного пространства» уходит из повседневного речевого обихода носителей русского языка в Советской России, индивидуальное вытесняется общественным. *Комната*, *квартира*, *жилплощадь*, *коммуналка* становятся основными лексемами, которыми именуется жилище. Слова «дом», «дворец» служат для обозначения общественных организаций и учреждений. Упразднение частной собственности ведёт к замене индивидуального общественным в семантике слова «дом».

Изменение характеристик сочетаемости лексемы «дом» в русском языке в 20–30-е гг. не случайно: «оно было нацелено на трансформацию его смысловой конфигурации и смещение ядра: вместо старого («царского») представления о доме как проявлении принципа «семейная или частная собственность» внедрялось понятие о доме как «коллективе (совместности)» и «идейном сообществе». И наоборот, абстрактно-философские идеи дома, разрабатываемые русской общественной мыслью <...> в дореволюционный период, в 1920–1930-е гг. в советском культурно-интеллектуальном обиходе были решительно оттеснены на периферию» [Зеленин 2007: 233].

Подобные трансформации привели к снижению значимости понятия «дом» в языковой картине мира, оно практически исчезает со страниц художественной литературы. Гораздо больше внимания описанию дома уделяет мемуарная проза Л.Е. Белозерской-Булгаковой, Д.С. Лихачёва, А.Б. Мариенгофа, Н.Н. Берберовой. А.Б. Мариенгоф об изменившемся в революционные годы домашнем укладе отзывался иронично: «Когда садились за стихи, запирали комнату, дважды повернув ключ в замке, и с видом преступников ставили на стол грелку. Радовались, что в чернильнице у нас не замерзали чернила и писать можно было без перчаток» [Мариенгоф 2006: 41]. дом как «своё», *ограждённое от «чужого» мира, личное пространство вытесняется* из языкового сознания, «мир сужается до размеров комнаты, больше похожей на тюремную камеру» [Макарова 2022: 475]. Бывшие ещё совсем недавно повседневными, действия по наполнению дома теплом становятся преступными в новое революционное время. Лишённые базовых атрибутов уюта – тепла и света, – жильцы воспринимают себя арестантами. Человеческие радости изменились, стали более приземлёнными и соответствовали базовым человеческим потребностям в тепле: перчатки, грелка». Но даже и это оказалось под запретом и вне закона: «Электрическими грелками строго-настрого было запрещено пользоваться, и мы совершали преступление против революции» [Мариенгоф 2006: 42]. Страх, тревожное ожидание грядущего возмездия и мрачные предчувствия неизбежной утраты прочно укореняются в общественном сознании: «Тайна электрической грелки была раскрыта <...>. Часами обсуждали – какие кары обрушит революционная законность на наши головы. По ночам снилась Лубянка, следовательно с ястребиными глазами, чёрная железная решётка» [Мариенгоф 2006: 53].

Лексика, объединённая семантикой «правонарушение» превалирует в описании дома в мемуарной прозе А. Б. Мариенгофа («преступление», «следователь», «амнистировать», «Лубянка», «решётка») [Макарова 2022: 475]. В таких условиях рождается новый революционный повод для радости – отсутствие наказания: «Когда комендант дома амнистировал наше преступление, мы устроили пиршество. Знакомые пожимали нам руки, возлюбленные плакали

от радости, друзья обнимали, поздравляя с неожиданным исходом». И радость теперь другая – не личная, а общественная. Пиршество по революционному поводу и на революционный лад ознаменовало конец духовности и набожности: «Чай мы пили из самовара, вскипевшего на Николае-угоднике: не было у нас угля, не было лучины – пришлось нащипать старую икону, что смиРНёхонько висела в углу комнаты». Всего за несколько лет радикально меняются ценности: что раньше было естественно, становится незаконно, что раньше казалось преступлением, теперь обыденность: «за такой чай годика три тому назад погнали бы нас по Владимирке» [Мариенгоф 2006: 54]. Святому и божественному не нашлось места в том, что раньше именовалось домом, а теперь называется жилплощадью. Духовное приносят в жертву материальному (топят печь книгами), чистота и порядок больше не является приоритетом, ими жертвуют в пользу более приземлённых базовых надобностей, а предметы гигиены меняют своё функциональное назначение: «Ванну мы закрыли матрацем – ложе; умывальник досками – письменный стол; колонку для согревания воды топили книгами». И если дореволюционный дом олицетворяют мир и согласие, то в эпоху революции жильё отождествляется с враждой и борьбой: «приходилось зубами и тяжёлым замком отстаивать открытую нами «ванну обетованную» <...> «ванны обетованной» мы всё-таки не отстояли. Пришлось отступить в ледяные просторы нашей комнаты» [Мариенгоф 2006: 54].

Подобное гротескное описание жилища революционного времени ярко иллюстрирует все те значительные изменения, которые произошли за достаточно короткое время в жилищно-бытовых условиях и языковом сознании носителей русского языка. «Дом как ментальное понятие, обозначающее личную собственность, семейно-бытовой уклад, систему межличностного взаимодействия людей с общими интересами и ценностями, исчезает из языковой картины мира» [Макарова, 2022: 476]. Слово «дом» сменяют новые лексемы, служащие для обозначения жилья: «комната», «жилплощадь», «коммунальная квартира», «коммуналка». Индивидуальное обобществляется, личное растворяется в коллективном.

О кощунственном жертвоприношении книг на алтарь домашнего тепла вспоминает и И.В. Одоевцева: «кое-как отогрев Мандельштама и накормив его вяленой воблой и изюмом по академическому пайку и напоив его чаем, на что потребовалось спалить два тома какого-то классика, повёл его в дом искусств искать пристанища» [Одоевцева 1988: 121].

Однако даже при наличии дров отопить жилище зачастую оказывалось для представителей академической среды делом не из простых: «Мандельштам всё же не отказывался от дровяного пайка, и разбросанные всюду поленья придавали его и без того странному обиталищу ещё более фантастический вид. Обычно Мандельштам и не пытался топить свою «буржуйку». Дело это действительно требовало особых знаний и навыка <...>. У обитателей писательского коридора не было охоты возиться ещё и с чужой печкой. Все они тоже не были «кочегарами и истопниками» и с большим трудом справлялись с самоотоплением» [Одоевцева 1988: 138]. Новые «пристанища» кажутся своим «обитателям» нереальными, ночным кошмаром, страшной сказкой: «Холод волчий. Окно всё в узорах, заледенело, ничего сквозь не видно. Я подышал на стекло и стал смотреть в оттаявшую дырку на серое небо, на белый снег и чёрные деревья. Как, помните, у Андерсена Кай в сказке «Снежная королева» [Одоевцева 1988: 215]. Старый мир исчез, новый скрыт за покрытым инеем окном, туманно не только будущее, но и настоящее.

Цветовая оппозиция «белый – серый» отражает мрачные изменения в быту и языковом сознании: небо, ранее голубое, ясное, чистое, теперь становится серым, порождая уныние. Цветосимвол *чёрный* в описании деревьев, вызывает мрачные ассоциации, создаёт ощущение тревожной безысходности. И только снег остаётся белым, как и в старые дореволюционные времена, но теперь уже не связаны в языковом сознании с чистотой, но с холодом и безразличием» [Макарова, 2022: 476].

Как и в мемуарной прозе А.Б. Мариенгофа, в воспоминаниях И.В. Одоевцевой представлены детальные описания такой революционной реалии, как уплотнение и порождённую им вражду между соседями, вместе с тем

подчеркивая, что подобные трансформации дома были неоднородны в различных городах: «Лето 1921 года. Москва. Я гощу у брата и, как здесь полагается, живу с ним и его женой в одной комнате, в «уплотнённой» квартире на Басманной. У нас в Петербурге ни о каких «жилплощадях» и «уплотнениях» и речи нет. Все живут в своих квартирах, а если почему-то неудобно, <...> перебираются в другую пустующую квартиру: их великое множество – выбирай любую <...>. Здесь же в квартире из шести комнат двадцать один жилец – всех возрастов и всех полов – живут в тесноте и обиде» [Одоевцева 1988: 245-246].

Вместо слова «дом» для обозначения жилища используется обезличено-пренебрежительная лексема *пристанище* и в мемуарной прозе Л.Е. Белозерской-Булгаковой: «Теперь, в 1924 году, я решила направиться к ней и спросить, не поможет ли она нам в поисках пристанища <...> мы живём в покосившемся флигельке во дворе дома № 9 по Обухову, ныне Чистому переулку» [Белозерская-Булгакова 1990: 93]. При этом Л.Е. Белозерская-Булгакова – одна из немногих авторов, запечатлевших в своих воспоминаниях жизнь в России в первые послереволюционные годы, – продолжает для номинации жилья использовать слова «дом» и «очаг»: благополучная семейная жизнь помогает ей сохранить в сознании эти значимые для личного счастья ментальные понятия: «дом свой мы зовём голубятней. Это наш первый совместный очаг» [Белозерская-Булгакова 1990: 93]. Вопреки бытовым трудностям, автору всё же удаётся в период резких социальных потрясений создать новый, пусть и весьма скромный домашний очаг, сохранять и поддерживать в нём уют, перенести в новый революционный быт атрибуты прежнего домашнего благополучия – абажур, рояль [Белозерская-Булгакова 1990: 126].

Вполне благополучным может стать домашний очаг и в эпоху перемен, а поселившиеся в нём со временем домашние животные – доказательство этого благополучия: «Так появился у нас пёс, названный в честь слуги Мольера Бутоном. Он быстро завоевал наши сердца, стал общим баловнем и участником шарад. Со временем он настолько освоился с нашей жизнью, что стал как бы членом семьи» [Белозерская-Булгакова 1990: 137].

В благополучном постреволюционном жилище появляются и главные символы дома и воплощение уюта – кошки: «Зойкина квартира» идёт тоже с аншлагом. В ознаменование театральных успехов первенец нашей кошки Муки назван Аншлаг» [Белозерская-Булгакова 1990: 133]. Домашние животные персонифицируются, наделяются человеческими качествами – речью – и живут жизнью хозяев: «Кошки наши вдохновили не только поэта и художника, но и проявили себя в эпистолярном жанре. У меня сохранилось много семейных записок, обращённых ко мне от имени котов» [Белозерская-Булгакова 1990: 137].

В доме (домашнем очаге) переломного времени традиционное соседствует с новым и злободневным: главным украшением интерьера по-прежнему (как и в царскую эпоху) остаются предметы искусства, но это искусство наполняется новым революционным содержанием: «У нас осталась только подаренная им (С. Топлениновым) картина маслом, подписанная: «Софоново, 17 г.». это натюрморт, оформленный в тёмных рембрандтовских тонах, а по содержанию сильно революционный: на почётном месте, в серебряной вазе, – картошка, на переднем плане, на куске бархата, – луковица; рядом с яблоками соседствует репа» [Белозерская-Булгакова 1990: 136]. Порой гротескные, наивные и смешные, эти элементы новой социальной реальности всё же привносят в дом уют.

Изменение понятия «дом» в языковом сознании наиболее ярко отражается в художественной литературе в рассказах М.М. Зощенко, романах «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» И. Ильфа и Е. Петрова, повести «Собачье сердце», романах «Белая гвардия» М.А. Булгакова, «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака, «Зависть» Ю.К. Олеси.

Сатирические рассказы М.М. Зощенко рисуют во многом карикатурный образ изменившейся за годы революции Москвы: вместо многовекового столичного величия – тесные коммуналки с остатками роскошных интерьеров прежних хозяев, вместо тёплого домашнего очага, залитого уютным светом, общая кухня с чадящим примусом. «Двусмысленность квартиры-дома, возможность осознания её как островка личной свободы входили в противоречие с жизнестроительной практикой новой власти (идеи «нового быта») и привели к

тому, что она в литературе была вытеснена коммунальной квартирой и коммуной, которые и стали центральными топосами в литературе» [Кувшинов 2016: 25]. Слово «дом» заменило слово «квартира, комната», а соседи, волею случая оказавшиеся под одной крышей, теперь выступают неким аналогом семьи. Нет домашнего благополучия, есть неустроенный быт и разруха, нет семейного единения, есть склоки с соседями на общей кухне. В контексте резкой окружающей трансформации личность дезориентирована: привычная система ценностей разрушена, новая не сформирована, потеря дома как материальной, нравственной и духовной опоры приводит к утрате личностного стержня. Оттого и разгораются драки в коммунальных квартирах, заключаются поспешные браки с супругами, которых с трудом можно узнать. Утрата дома обесценивает революционные идеи справедливости и равенства.

В мире, в котором отныне всё возможно, а будущее таит неизвестность, и нет ни материальных, ни нравственных опор, с лёгкостью возникает и быстро укореняется преступная система ценностей. Произведения «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок» И. Ильфа и Е. Петрова наглядно иллюстрируют этот процесс. В прошлом представитель высшего сословия, ныне обедневший Ипполит Матвеевич в тщетных попытках вернуть былое благополучие возвращается на руины семейного гнезда. Потерявшая родной дом, а следовательно, и всякую опору в жизни, сломленная личность не в силах правильно ориентироваться в изменившихся социальных условиях, попадает под влияние предприимчивого проходимца Остапа Бендера и вступает на порочный путь, неуклюже балансируя между добропорядочностью и преступным миром. Утрата дома обнажает всё тёмное, что таит в себе личность.

На страже домашнего благополучия в его необходимой неизменности стоит профессор Преображенский из повести «Собачье сердце» М.А. Булгакова и знаменует собой торжество несломленной деятельной личности в условиях резкой трансформации окружающей действительности: «они предложили мне отказаться от смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но

и не имею права работать» [Булгаков 2000: 24]. дом профессора Преображенского остаётся крепостью порядка в хаосе революции, его повседневная трапеза и в изменившихся социальных условиях остаётся по-царски роскошной, сохранившей все атрибуты дореволюционного быта: «На разрисованных райскими цветами тарелках с чёрной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная сёмга, маринованные угри. На тяжёлой доске – кусок сыру в слезах и в серебряной кадлушке, обложенной снегом, – икра. Меж тарелками – несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоседившемуся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на ней два прибора, салфетки, свёрнутые в виде папских тиар, и три тёмных бутылки» [Булгаков 2000: 26]. Сохранены все традиционные символы *дома* – серебряный свет, уют, добротной, сделанной на века мебели, священность очага, подчёркнутая метафорой «свёрнутые в виде папских тиар», но всё же нельзя не заметить, что революция уже здесь: об этом свидетельствует сниженная лексика, так резко контрастирующая с гармоничным описанием сытной домашней трапезы («присоседившийся» мраморный столик, «изрыгавший» пучки света), предвещаают скорый несокрушимый удар по самым главным символам дома: уюту и свету.

Впервые опубликованный в 1925 году роман «Белая гвардия», создававшийся автором более семи лет и посвящённый второй жене М.А. Булгакова, Любови Белозерской, роман во многом автобиографичен и повествует о трагической судьбе русской интеллигенции как чуждого класса в период революции.

Дом и домашний очаг играют заметную роль в системе авторских символов (*город, вьюга, революция, раскол*), он сопряжен с отношениями между персонажами, политическими событиями в стране, ходом самой истории» [Макарова 2020: 189].

Образ дома в романе содержит в себе исключительно положительную семантику тихой обители, оазиса добра, теплоты и уюта в хаосе революционной бури. Для главных героев дом – цитадель постоянства, надежная защита от внешнего мира, «двойственности зыбкого времени» [Булгаков 2018: 33], семья Турбиных в эпоху коренных перемен в общественном сознании всеми силами пытается сохранить тепло и уют домашнего очага: «На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колонок <...>. Скатерть, несмотря на пушки и на все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе, это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре, теперь, на столе, в матовой, колонной, вазе голубые гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к Городу – коварный враг» [Булгаков 2018: 15].

В революционное время представления о доме драматически меняются: из языкового сознания исчезает его связь с ключевыми ментальными понятиями: теплом, светом и уютом, любовью и радостью, миром и спокойствием. На смену слову «дом» приходят новые лексемы: «коммунальная квартира», «комната», «жилплощадь». Многие явления из семантического поля дом архаизируются.

В отличие от эмигрантов, писатели, оставшиеся в Советском Союзе, сохранили физическую и духовную связь с родиной как домом, но вместе с тем, оппозиция «свои – чужие», так ярко выраженная в прозе и языковом сознании русского зарубежья, обостряется и в советской прозе и языковой картине мира.

В советской литературе 1920–1930-х годов дом утрачивает своё значение ограниченного личного пространства, что отражает смену ценностей в обществе от индивидуального к общественному. Сама лексема дом вытесняется на периферию, и ей на смену приходят новые понятия, обозначающие форму человеческого существования в революционное время – жилплощадь, квартира, комната, коммуна – жилища, лишённого домашнего тепла, света и уюта, и выступающих в оппозиции к традиционному образу дома, отражённому в русской классике и литературе зарубежья.

3.3. Ключевые мотивы в описании дома в русской лингвокультуре советского периода

Ключевые ментальные понятия, связанные с *домом* (Глава 1, параграф 1.1), – тепло и уют, свет, любовь, радость, семейственность – широко представлены в эпизодах, посвящённых описанию домашнего очага России в прозе М.А. Булгакова и Б.Л. Пастернака. Связь эта реализуется благодаря традиционным символам, сопутствующим этим понятиям в художественной литературе: *горящая свеча, полыхающий камин, горящий костёр, лунный и солнечный свет, семейная трапеза, праздник*. Эти символы создают взаимосвязь и взаимопроникновение ностальгических мотивов благополучия, изобилия, связи и преемственности поколений.

Мотив благополучия, сопряжённый с чувством уверенности в себе, в завтрашнем дне. Дом изображён в первых главах романа как эстетический объект, как воплощение и реальное отражение незыблемости семейного уклада в дореволюционной России. «Дом братьев Громеко <...> был двухэтажный. Верх со спальнями, классной, кабинетом Александра Александровича и библиотекой, будуаром Анны Ивановны и комнатами Тони и Юры был для жилья, а низ для приемов. Благодаря фисташковым гардинам, зеркальным бликам на крышке рояля, аквариуму, оливковой мебели и комнатным растениям, похожим на водоросли, этот низ производил впечатление зеленого, сонно колышущегося морского дна» [Пастернак 2017: 71]. Метафора «домашний очаг – морское дно» рисует образ стабильности, постоянства и защищенности, но вместе с тем подчёркивает идею невозможности перемен, нежелания, неготовности принимать грядущие неизбежные изменения.

В романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» домашний очаг выступает как символ родительства: «Вот этот изразец, и мебель старого красного бархата, и кровати с блестящими шишечками, потертые ковры, пестрые и малиновые, с соколом на руке Алексея Михайловича, с Людовиком XIV, нежащимся на берегу шелкового озера в райском саду, ковры турецкие с чудными завитушками на

восточном поле <...>, бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовою, Капитанской Дочкой, золоченые чашки, серебро, портреты, портьеры, – все семь пыльных и полных комнат, выросивших молодых Турбиных» [Булгаков 2018: 9].

Мотив благополучия метафорически сравнивается с морским дном и лексически репрезентируется во множестве интерьерных деталей: *фисташковые гардины, портьеры, оливковая мебель, «кровати с блестящими шпешечками, ковры турецкие с чудными завитушками на восточном поле»* [Булгаков 2018: 9], *фамильные портреты*; цветосимволами *зелёный, белый, золотой, серебряный, бронзовый*. Так же, как и в прозе русского зарубежья, в описаниях дома в художественной литературе писателей, оставшихся после революции 1917 года на родине, мотив благополучия тесным образом связан с мотивом изобилия.

Мотив изобилия, жизни как праздника, праздника как традиции. Образ семейного праздника выходит на передний план в описании домашнего очага дореволюционного времени. В романе «Доктор Живаго» особым наслаждением автор в мельчайших деталях описывает изобильные дружеские застолья: «Из зала через растворенные в двух концах боковые двери виднелся длинный, как зимняя дорога, накрытый стол в столовой. В глаза бросалась яркая игра рябиновки в бутылках с зернистой гранью. Воображение пленяли судки с маслом и уксусом в маленьких графинчиках на серебряных подставках, и живописность дичи и закусок, и даже сложенные пирамидками салфетки, стойком увенчивавшие каждый прибор, и пахнувшие миндалем сине-лиловые цинерарии в корзинах, казалось, дразнили аппетит» [Пастернак 2017: 73]. В романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» семейные праздники с изобильными и наполненными радостью дружескими застольями наиболее ярко отражают традиционность домашнего уклада: «И все аплодировали, и эту движущуюся, шаркающую и галдящую толпу обносили мороженым и прохладительными. Разгоряченные юноши и девушки на минуту переставали кричать и смеяться, торопливо и жадно глотали холодный морс и лимонад и, едва поставив бокал на поднос, возобновляли крик и смех в

удесятеренной степени, словно хватив какого-то веселящего состава» [Пастернак 2017: 112].

Мотив изобилия символизирует семейный праздник с дружеским застольем, картина которого представлена в текстах художественной литературы в мельчайших деталях с подробным описанием зрительных, тактильных и обонятельных ощущений. Лингвистически мотив изобилия репрезентирован лексикой с семантикой радости: *веселящий состав, веселились до утра, смех, смеяться, все аплодировали, галдящая толпа, шампанское, мороженое; цветосимволом белый, метафорой «праздничный стол – зимняя дорога».*

Мотив связи и преемственности поколений непосредственным образом связан с мотивом жизни как праздника, поскольку именно на семейных торжествах и дружеских застольях осуществляется сохранение и передача традиций от поколения к поколению: «С незапамятных времен ёлки у Свентицких устраивали по такому образцу. В десять, когда разъезжалась детвора, зажигали вторую для молодежи и взрослых, и веселились до утра. Более пожилые всю ночь резались в карты в трехстенной помпейской гостиной, которая была продолжением зала и отделялась от него тяжелой плотной занавесью на больших бронзовых кольцах. На рассвете ужинали всем обществом» [Пастернак 2017: 102]. *дом* предстаёт перед нами как собрание единомышленников, объединенных общим весельем и искрящейся радостью.

В романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» мотив преемственности олицетворяют настенные часы: «Били в столовой черные стенные башенным боем. Покупал их отец давно, когда женщины носили смешные, пузырчатые у плеч рукава. Такие рукава исчезли, время мелькнуло, как искра, умер отец-профессор, все выросли, а часы остались прежними и били башенным боем. К ним все так привыкли, что, если бы они пропали как-нибудь чудом со стены, грустно было бы, словно умер родной голос и ничем пустого места не заткнешь. Но часы, по счастью, совершенно бессмертны» [Булгаков 2018: 9].

Часы наделяются человеческими качествами: обладая способностью сопереживать семье Турбиных, они ярко показывают малейшие изменения в

эмоциональном состоянии главных героев, отражают весь спектр противоречивых человеческих чувств и эмоций от печали, тоски и угнетения: «пятнадцатого декабря солнце по календарю угасает в три с половиной часа дня. Сумерки поэтому побежали по квартире уже с трех часов. Но на лице Елены в три часа дня стрелки показывали самый низкий и угнетенный час жизни – половину шестого. Обе стрелки прошли печальные складки у углов рта и стянулись вниз к подбородку. В глазах ее началась тоска и решимость бороться с бедой» [Булгаков 2018: 184]; до высшей степени радости и подъема душевных сил: «На сером лице Лариосика стрелки показывали в три часа дня высший подъем и силу – ровно двенадцать. Обе стрелки сошлись на полудне, слиплись и торчали вверх, как острие меча» [Булгаков 2018: 185-186].

Мотив преемственности поколений связан с описанием семейного праздника, новогодняя ёлка – главный его символ. Этот мотив также реализуется в лексемах, обозначающих предметы домашнего обихода: *настенные часы с маятником и башенным боем, печь, абажур, самовар.*

Мотив предчувствия утраты привычного и дорогого сердцу. Через всё повествование в романе Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» проходит мотив предчувствия. Первый эпизод связан со смертью матери: «Ночью Юру разбудил стук в окно. Тёмная келья была сверхъестественно озарена белым порхающим светом» [Пастернак 2017: 10]. Мотив предчувствия сопряжён со словосочетаниями «стук в окно», «белый порхающий свет». Эпитет «сверхъестественный» оттеняет мистический характер ситуации. «Появление освещённого круга света, выхваченного из тьмы, происходит в моменты драматического схождения контрапунктных линий действия – «скрещения судеб» [Гаспаров 1994: 264]. Пятно света, окружённое тьмой и отбрасывающее неясные тени на границе света и тьмы – центральный символ, посредством которого мотив предчувствия в романе «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака реализуется во множестве различных эпизодов.

Мотив предчувствия связан также и со зловещей символикой приближающихся судьбоносных событий: «Как-то зимой Александр

Александрович подарил Анне Ивановне старинный гардероб. Он купил его по случаю. Гардероб черного дерева был огромных размеров <...> Анна Ивановна не любила гардероба. Видом и размерами он походил на катафалк или царскую усыпальницу. Он внушал ей суеверный ужас. Она дала гардеробу прозвище «Аскольдовой могилы». Под этим названием Анна Ивановна разумела Олега коня, вещь, приносящую смерть своему хозяину» [Пастернак 2017: 82].

В изображении дореволюционного домашнего явно прослеживается *мотив предчувствия утраты привычного и дорогого сердцу, мотив смертельной опасности*. Это мотив выражен словосочетанием «суеверный ужас», повторением определений с негативной оценочностью (*зловещий, чёрный*), лексических единиц семантического поля «смерть» (*катафалк, усыпальница, могила*). Один выход данного эпизода в будущее – болезнь и смерть Анны Ивановны. Другой обнаруживается очень скоро: на смертном одре Анна Ивановна завещает Живаго жениться на Тоне, и тем самым эпизод с гардеробом выступает как одна из событийных линий, ведущих к женитьбе героя. Ещё одна, гораздо более далёкая сюжетная связь обнаруживается и в том, какие действующие лица принимают участие в рассматриваемой сцене: «Собирать гардероб пришёл дворник Маркел. Он привёл с собой шестилетнюю дочь Маринку. Маринке дали палочку ячменного сахара. Маринка засопела носом и, облизывая леденец и заслупявленные пальчики, насуплено смотрела на отцовскую работу» [Пастернак 2017: 82]. Марина – последняя жена Живаго, и в эпизоде с гардеробом происходит первое «скрещение» её судьбы и судьбы героя романа.

Многократное повторение имени «Марина» без замены на соответствующее личное местоимение в рассматриваемом коротком эпизоде указывает на значимость этой фигуры в жизни Живаго. Таким образом, эпизод с гардеробом предвосхищает и смерть приёмной матери, и женитьбу главного героя.

В романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» мотив предчувствия лингвистически отражён в олицетворениях предметов быта – самовара («Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюется» [Булгаков 2018: 15],

часов («Елена бурей через кухню, через темную книжную, в столовую <...>. Черные часы забили, затикали, пошли ходуном») [Булгаков 2018: 24-25].

К языковым средствам реализации мотива предчувствия в текстах художественной литературы Советской России того времени относятся:

- Негативно окрашенные лексемы с общей семантикой «предчувствие» (*тревога, страшный, зловещий, суеверный ужас*).
- Лексические единицы ассоциативного ряда «смерть»: *катафалк, усыпальница, могила*; цветосимвол «чёрный».
- Лексические сочетания, объединённые символикой «свет во тьме»: *порхающий, сверхъестественный, магический свет, неясные тени на границе света и тьмы, освещённый лампою круг*.

Обобщив предшествующие революции эпизоды из жизни главных героев М.А. Булгакова «Белая гвардия», Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго», можно выделить ключевые точки в анализе образа домашнего очага этой эпохи: «эстетизация еды и процесса приема пищи, благополучие, восприятие жизни как праздника, традиционность. Вместе с тем, всё отчетливее звучит мотив предчувствия скорой утраты былого благополучия и неизбежности фатальных перемен. В эпизодах, иллюстрирующих изменения *дома* в революционную эпоху, на передний план выходят другие мотивы» [Макарова 2020: 70].

Мотив сожаления об утраченном. Привычное веселье и сытость дружеских застолий сменяет гораздо более скромная трапеза по особому случаю, попытки воссоздать былое изобилие становятся неуместны и неуклюжи: «Вечер с уткой и со спиртом в свое время состоялся <...>. Жирная утка была невиданной роскошью в те, уже голодные, времена, но к ней недоставало хлеба, и это обесмысливало великолепие закуски, так что даже раздражало <...>. Всего же грустнее было, что вечеринка их представляла отступление от условий времени. Нельзя было предположить, чтобы в домах напротив по переулку так же пили и закусывали в те же часы. За окном лежала немая, тёмная и голодная Москва» [Пастернак 2017: 205-206]. Вековые традиции нарушены, утрачены привычный

уют и тепло домашнего очага, веселье и сытость дружеских застолий, а попытки вернуть былое оказываются тщетны.

Утрата многих семейных радостей неизбежна, хотя семья Турбиных – герои романа «Белая гвардия» – и делает всё возможное, чтобы сохранить тепло и уют домашнего очага даже в эпоху разрушительных перемен: «На столе чашки с нежными цветами снаружи и золотые внутри, особенные, в виде фигурных колонок <...>. Скатерть, несмотря на пушки и на все это томление, тревогу и чепуху, бела и крахмальна. Это от Елены, которая не может иначе, это от Анюты, выросшей в доме Турбиных. Полы лоснятся, и в декабре, теперь, на столе, в матовой колонной вазе голубые гортензии и две мрачных и знойных розы, утверждающие красоту и прочность жизни, несмотря на то, что на подступах к Городу – коварный враг <...>. Под тенью гортензий тарелочка с синими узорами, несколько ломтиков колбасы, масло в прозрачной маслѐнке, в сухарнице пилаффраже и белый продолговатый хлеб. Прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства» [Булгаков 2018: 15-16]. Этот же мотив явственно звучит в детальном описании столовой и столовых принадлежностей, в авторском повествовании они предстают как символ семейного единства. «Сервиз безумно жаль» [Булгаков 2018: 182] – разбитый сервиз ассоциируется с разрушением домашнего очага, нарушением традиций. Ваза предстает в романе как символ неудачного супружества, метафора «образовалась какая-то трещина в вазе турбинской жизни, и добрая вода уходила через неё незаметно. Сух сосуд. Пожалуй, главная причина этому в двухслойных глазах капитана Генерального штаба Тальберга, Сергея Ивановича» [Булгаков 2018: 25] выражает мотив сожаления об утраченном.

«Мой дом – моя крепость» – это крылатое выражение как нельзя лучше описывает *домашний очаг* семьи Турбиных, однако «крепости этой грозит смертельная опасность; кажется, это понимают не только главные герои романа, но даже и предметы интерьера. Олицетворение превращает их из бытовых объектов в полноправных обитателей домашнего очага, которые живут собственной жизнью вместе с ключевыми персонажами и сопереживают им»

[Макарова 2020: 294]. Одушевляется самовар: «Николка из кухни тащит самовар, и тот поет зловеще и плюётся» [Булгаков 2018: 15], печь: «изразцовая печка в столовой грела и растила Еленку маленькую, Алексея старшего и совсем крошечного Николку» [Булгаков 2018: 9].

В романе «Белая гвардия» М.А. Булгакова ассоциируемая с вьюгой революция со всей ее «кутерьмой и безобразиям» врывается в безмятежный уют домашнего очага Турбиных, но всё же не в силах разрушить безмятежность очага-колыбели: «Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому» [Булгаков 2018: 13-14]. Революционная символика в описании домашнего очага указывает на угрозу смертельной опасности для всех живущих в нём. Метафора «дом накрыло шапкой белого генерала» [Булгаков 2018: 11] создает образ призрачной защиты.

Мотив сожаления об утраченном выражается следующими языковыми средствами:

- глаголами в сослагательном наклонении (*«прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства»* [Булгаков 2018: 15-16]),
- олицетворением предметов быта (*самовар поёт зловеще*),
- метафорой «дом-разбитая посуда» (*разбитый сервиз, собирать осколки, трещина в вазе, сух сосуд*),
- лексикой с семантикой сожаления (*сервиз безумно жаль*).

«Чем уютнее, благополучнее и щедрее домашний очаг дореволюционной России, тем страшнее и драматичнее кажется его утрата на фоне революции, тем хаотичнее, безнадежнее и нелепее попытки обрести новый очаг, вернуть ему былую защищенность» [Макарова 2020: 67], *мотив фантасмагоричности* отражает эту идею: «Она усаживалась поудобнее на середину ковра, и под её руками игрушки всех видов сплошь превращались в строительный материал, из которого Катенька воздвигала привезенной из города кукле Нинке жилище куда с большим смыслом и более постоянное, чем те чужие меняющиеся пристанища, по

которым её таскали» [Пастернак 2017: 497]. Девочка, играющая в куклы на ковре, – «оазис спокойствия и благополучия в хаосе революционного шторма. В период резкой трансформации окружающей действительности происходит смена социальных ролей: строя игрушечный домик для куклы, ребёнок словно берёт на себя функции взрослого, восстанавливая порядок из хаоса, а значимость действий взрослых при этом снижается, их жизнь обесценивается: становится непонятной бессмысленной игрой с постоянной сменой действующих лиц и правил. В этом эпизоде мы сталкиваемся с новой оппозицией в описании дома: «ребёнок – взрослый». Просторечие «таскали» подчёркивает вынужденный характер бесконечных беспорядочных переездов, в которые девочку вовлекают взрослые» [Макарова 2022: 305]. Становится очевидно, что подобная ситуация всем в тягость. На этом фоне дом иллюзорен как детская фантазия, да и само понятие *дом* уже стёрлось из сознания, его теперь заменили плохо обустроенные «жилища» и временные «пристанища». Как уже было сказано в Главе 1 параграфе 1.1., ребёнок в русской лингвокультуре занимает одну из центральных позиций в доме и семье как средоточие любви, радости и светлых надежд на будущее и в рассматриваемом отрывке символизирует связь времён и преемственность поколений, берёт на себя роль хранителя семейных ценностей и традиций, воплощает готовность к творческому преобразованию действительности – «под её руками игрушки всех видов сплошь превращались в строительный материал», – к восстановлению порядка, созданию уюта там, где царит хаос и разрушение» [Макарова 2022: 306].

К языковым средствам выражения мотива фантазмагоричности относятся:

- символы *метель, снег* («дом накрыло шапкой белого генерала» [Булгаков 2018: 11]),
- метафора «жизнь-детская игра» («*Катенька воздвигала <...> кукле Нинке жилище куда с большим смыслом и более постоянное, чем те чужие меняющиеся пристанища, по которым её таскали*» [Пастернак 2017: 497]),
- смысловая замена слова «дом» на обезличенные синонимы (*жилища, пристанища*),

- лексемы с общей семантикой «хаоса и беспорядок» (*кутерьма и безобразие, хаос укладки*).

Мотив разрушения. Антитеза «уют, порядок, спокойствие – разорение, хаос, поспешность» является ключевой в описании спальни Тальбергов в романе «Белая гвардия»: «Елена торопливо ушла вслед за ним на половину Тальбергов в спальню, где на стене над кроватью сидел сокол на белой рукавице, где мягко горела зеленая лампа на письменном столе Елены и стояли на тумбе красного дерева бронзовые пастушки на фронтоне часов, играющих каждые три часа гавот <...>. Через полчаса всё в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом <...>. А потом ... потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы. Никогда. Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побежкой на неизвестность от опасности. У абажура дремлите, читайте – пусть воеет вьюга, – ждите, пока к вам придут» [Булгаков 2018: 26-27].

Лингвистически мотив разрушения выражен словосочетаниями *всё разорено, хаос укладки, абажур сдёрнут с лампы*.

В ряду символических предметов домашнего очага особенно значим абажур как воплощение тепла и уюта: «Невольно вспомнилось мне, как в «Белой гвардии» Булгаков воспевает абажур – символ тепла, уюта, семьи» [Белозерская-Булгакова 1990: 139]. В романе абажур ассоциируется также с утраченной защитой, отражением *мотива фатальной поспешности, бессмысленности бегства*.

Мотив тревоги. Центральной фигурой в описании *дома и семьи* в «Белой гвардии» М.А. Булгакова всё же остается женщина как хранительница уюта и тепла *домашнего очага*. С изменением душевного состояния женщин семейства меняется и сам домашний очаг: покой на сердце у Елены – спокойно и домочадцам, тревожно хозяйке дома – тревожатся и братья, и все предметы в доме, становится темно и тоскливо: «Темно. Темно во всей квартире. В кухне только лампа <...> сидит Аня и плачет, положив локти на стол. Конечно, об

Алексее Васильевиче <...>. В спальне у Елены в печке пылают дрова. Сквозь заслонку выпрыгивают пятна и жарко пляшут на полу. Елена сидит, наплакавшись об Алексее, на табуреточке, подперев щеку кулаком» [Булгаков 2018: 168-169]. Если же хранительницей домашнего очага овладевает отчаяние, то даже бессменный страж домашнего уюта – зелёный абажур – не в силах больше выполнять свою главную задачу – защищать домочадцев от невзгод внешнего мира: «Хоть на лампе и был абажур, в спальне Елены стало так нехорошо, словно кто-то сдернул цветистый шёлк и резкий свет ударил в глаза и создал хаос укладки» [Булгаков 2018: 282].

Олицетворения *«по всему дому сухим ветром пронеслась тревога», «пятна жарко пляшут на полу»* составляют лингвистическую основу мотива тревоги.

Мотив коренных изменений в быту и сознании сопряжён с потерей духовных ориентиров дореволюционной культуры. Происходит изменение эстетического сознания. Богатство внутреннего убранства дома сменяется крайней сдержанностью, скупостью обстановки, а порой и бедностью, обветшалостью, заброшенностью жилища: «Всесильный Маркел выгородил ему конец бывшей квартиры Свентицких. Эту крайнюю долю квартиры составляли: старая бездействовавшая ванная Свентицких, однооконная комната рядом с ней и покосившаяся кухня с полуобвалившимся и давшим осадку черным ходом» [Пастернак 2017: 546].

Ограниченность жилого и личного пространства, слабомотивированное изменение функционального назначения жилых помещений – основные черты домашнего очага первых послереволюционных лет: «Комната Гордона была странного устройства. На её месте была когда-то мастерская модного портного, с двумя отделениями, нижним и верхним <...>. Теперь из помещения было выкроено три. Путём добавочных настилов в мастерской были выгаданы междуярусные антресоли, со странным для жилой комнаты окном» [Пастернак 2017: 551].

Изменяется трактовка понятий «роскошь» и «уют». В жизни больше нет места изобильным дружеским застольям в помпезных, залитых ярким светом

гостиных. Отныне уют – крыша над головой, угол в плохо отапливаемом, порой и вовсе непригодном для жилья помещении. Тепло простого человеческого общения при вдохновляющем свете свечи – вот настоящая роскошь в постреволюционную эпоху: «Если вы спалили еще не все мои свечи <...>, давайте поговорим ещё чуть-чуть. Давайте проговорим сколько вы будете в состоянии, со всею роскошью, ночь напролёт, при горящих свечах» [Пастернак 2017: 528]. Домашний очаг революционных лет обозначает точку невозврата к былому и так горячо любимому.

Многое в привычном уютном и нежно любимом домашнем очаге вдруг стало лишним, ненужным: «Бездна лишнего. Лишняя мебель и лишние комнаты в доме, лишние тонкости чувств, лишние выражения. Очень хорошо сделали, что потеснились. Но ещё мало. Надо больше» [Пастернак 2017: 200]. Синтаксически этот фрагмент с короткими, резкими, неполными предложениями и лексическим повтором слова «лишний» в каждом из них резко контрастирует с развёрнутыми детальными описаниями дореволюционного дома и по своей структуре напоминают агитационные речи новой власти (подробнее – Глава 3, параграф 3.1). Парцелляции и многократные повторения одной и той же лексемы звучат излишне категорично и не допускают возможность альтернативного развития событий [Макарова 2022: 307].

Мотив коренных изменений в быту и сознании лингвистически выражен:

- лексемами ассоциативного поля «ухудшение условий жизни», порой до обнищания и голода: *недоставало хлеба, голодные времена; «немая, тёмная и голодная Москва»* [Пастернак 2017: 206];
- словосочетаниями, объединёнными семантикой «неуместность»: *отступление от условий времени, обесмысливало великолепие закуски;*
- многократным лексическим повтором определений *лишний, странный*, характеризующих не только бытовые ситуации, но и человеческие чувства;

- определениями с семантикой «обветшание» (*покосившийся, полюбвавшийся*).

Сопоставив ключевые мотивы, отражённые в описании дома в прозе русского зарубежья и Советской России, приходим к следующим выводам: сходными в описании *домашнего очага* дореволюционной России в романах «Самоубийство» М.А. Алданова, «Белая гвардия» М.А. Булгакова, «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака являются *мотивы благополучия и стабильности, преемственности поколений. Мотив жизни как праздника, праздника как традиции*, красноречиво звучащий в прозе М.А. Алданова, Б.Л. Пастернака, не характерен для описаний *дома, семьи* и быта главных героев произведения М.А. Булгакова. «Возможно, подобное отсутствие стремления к ностальгическим воспоминаниям о дореволюционных праздниках и элементах действительности, с ними связанных, объясняется непосредственной вовлечённостью в революционные события, с позиций которых утрата многих аспектов прежней жизни ещё не очевидна, а сами эти аспекты ещё не окрасились теми ностальгическими эмоционально-ассоциативными оттенками, которые они приобретут по прошествии многих лет в восприятии свидетелей исторических событий» [Макарова 2020: 71]. «Вынужденное бездомье эмигрантов обновило в концепте-символе те смыслы, ассоциативные ряды, которые ранее были либо затушеваны, спрятаны, находились в семантической «тени», либо возникли, актуализировались именно в эмигрантский период жизни» [Зеленин 2007: 234].

Страстное стремление Турбиных и Ласточкиных даже на фоне внешней катастрофы во что бы то ни стало сохранить домашний очаг прежним и неизменным напрямую связано «с желанием в момент вселенского хаоса не потерять человеческий облик. Одушевляя *домашний очаг*, изображая его как одного из главных персонажей романа, авторы идеализируют личностей, чей нравственный выбор – сохранять достоинство и верность моральным ценностям, а не бежать «крысёй побежкой в неизвестность от опасности», теряя в своей поспешности главную ценность – душу» [Макарова 2020: 70].

Образ *домашнего очага* в романе М.А. Булгакова создаётся посредством разнообразных символов: «изразцовой печи, мрачно поющего самовара, сдернутого с лампы зелёного абажура, разбитого фамильного сервиза с синими узорами, чёрных часов с башенным боем. В восприятии главных героев такие родные и дорогие сердцу предметы быта в годы революции зловеще меняются. В романе М.А. Алданова ключевыми символами в описании домашнего очага становятся шампанское и дружеская беседа как вещественное и духовное воплощение жизни как праздника, сочетание традиций и инноваций как залог благополучия и стабильности. В прозе Б.Л. Пастернака домашний очаг ассоциируется со светом свечи, накрытым столом, ёлкой. Хотя домашний очаг нерушим в сознании героев романов, в реальности он рушится одновременно с крушением семейных традиций и ценностей как социального явления» [Макарова 2020: 69].

Наиболее значимые мотивы в описании дома и основные символы, посредством которых они лингвистически репрезентируются, отражены в таблице 5.

Таблица 5. Ключевые мотивы и символы в описании дома в прозе Советской России и русского зарубежья

Мотив	Репрезентация	Символ
благополучие	Алданов: сочетание традиций и инноваций	белоснежная скатерть, электрический самовар, круглая, затянутая атласом гостиная, тостер, чай герметически закрывавшейся коробке
	Пастернак: очаг как «морское дно»	фисташковые гардины, аквариум, комнатные растения
	Булгаков: дом –	часы, печь, самовар,

	крепость	абажур
Изобилие	<i>Общее:</i> праздник	шампанское, изобильное застолье, дружеская беседа
преемственность поколений	Пастернак, Алданов: застолье	Пастернак: рождественская ёлка
		Алданов: музыкальный салон
		Булгаков: часы, печь, шкафы с книгами
предчувствие утраты	<i>Общее:</i> зловещее, чёрный	Булгаков: «самовар... поёт зловеще и плюётся», «чёрные часы ...пошли ходуном» [Булгаков 2018: 25].
		Пастернак: гардероб чёрного дерева – Аскольдова могила
сожаление об утраченном	Пастернак, Алданов: привычное неуместно	Алданов: «неприлично теперь пить шампанское» [Алданов 2011: 257].
	Булгаков: разбитая посуда – утрата семейного единства	Булгаков: «сервиз безумно жаль», «трещина в вазе турбинской жизни», «сух сосуд» [Булгаков 2018: 25].
		Пастернак: жирная утка

		– невиданная роскошь [Пастернак 2017: 205].
фантаσμαгоричность	Алданов: смена системы координат, модели бытия	Алданов: из эвклидового мира в мир геометрии Лобачевского
	Булгаков: одушевление предметов быта и человеческих эмоций	Булгаков: «дом накрыло шапкой белого генерала», «по всему дому сухим ветром пронеслась тревога» [Булгаков 2018: 273], часы – отражение чувств и эмоций героев
	Пастернак: меняющийся быт – детская игра	Пастернак: «игрушки всех видов сплошь превращались в строительный материал, из которого Катенька воздвигала привезенной из города кукле Нинке жилище куда с большим смыслом и более постоянное, чем те чужие меняющиеся пристанища, по которым её таскали» [Пастернак 2017: 497].
обречённость	Общее: оппозиция «внешнее –	Алданов: <i>Они</i> кончатся? Только на это и надежда,

	внутреннее», «мы – они»	но до того, как кончатся <i>они</i> , кончимся мы, если не физически, то морально» [Алданов 2011: 556].
	Булгаков: темнота	Булгаков: «Через полчаса все в комнате с соколом было разорено. Чемодан на полу и внутренняя матросская крышка его дыбом... А потом ... потом в комнате противно, как во всякой комнате, где хаос укладки, и еще хуже, когда абажур сдернут с лампы» [Булгаков 2018: 26]. «Темно. Темно во всей квартире» [Булгаков 2018: 169].
фатальная поспешность, бессмысленность бегства	Булгаков: снятый абажур – собственноручное разрушение дома и семьи	Булгаков: «Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побегом на неизвестность от опасности. У абажура

		дремлите, читайте - пусть воеет вьюга, - ждите, пока к вам придут» [Булгаков 2018: 27].
коренные изменения в быту и сознании	Алданов, Пастернак: изменение целевого назначения комнат, сокращение жилого и личного пространства	Алданов: «Спальная – прежняя столовая – была почти пуста: оставались только кровать и диван, ночной столик между ними и одно кресло; да ещё на стене висели на гвоздях немногочисленные платья, два мужских костюма. Всё остальное было продано», «Скоро у Ласточкиных человек в кожаной куртке отобрал рояль» [Алданов 2011: 559].
		Пастернак: «Всесильный Маркел выгородил ему конец бывшей квартиры Свентицких. Эту крайнюю долю квартиры составляли: старая бездействовавшая ванная Свентицких,

	<p>Пастернак: изменение понятий «роскошь» и «уют»</p> <p>Пастернак: важное становится лишним</p>	<p>однооконная комната рядом с ней и покосившаяся кухня с полуобвалившимся и давшим осадку чёрным ходом» [Пастернак 2017: 546],</p> <p>«Если вы спалили еще не все мои свечи <...>, давайте поговорим ещё чуть-чуть. Давайте проговорим сколько вы будете в состоянии, со всею роскошью, ночь напролёт, при горящих свечах» [Пастернак 2017: 528],</p> <p>«Бездна лишнего. Лишняя мебель и лишние комнаты в доме, лишние тонкости чувств, лишние выражения. Очень хорошо сделали, что потеснились. Но еще мало. Надо больше» [Пастернак 2017: 200].</p>
<p>нарушение преемственности поколений</p>	<p>Алданов, Пастернак: на поруганном старом создаётся</p>	<p>Алданов: «Отравляли жизнь только подростки, на редкость буйные,</p>

	неполноценное новое	дерзкие, вечно скандалившие и грубившие родителям. Они выбрали себе гостиную, которую когда-то обставила Нина. По-видимому, их прельстила круглая форма этой комнаты. Расставили в ней кровати и покрыли содранным со стен шёлком» [Алданов 2011: 557].
--	------------------------	--

В описаниях *домашнего очага* дореволюционной России в романах «Белая гвардия» М.А. Булгакова и «Самоубийство» М.А. Алданова, «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака «красноречиво звучат мотивы благополучия и стабильности, преемственности поколений. При этом М.А. Алданов и Б.Л. Пастернак выделяют также ностальгический мотив жизни как праздника и праздника как традиции. В эпизодах, повествующих о революционных событиях, описание *дома и семьи* существенно меняется: на передний план выходят мотивы обречённости, сожаления об утраченном, фантасмагоричности и призрачности бытия. В «Белой гвардии» М.А. Булгакова особую значимость приобретает мотив фатальной поспешности, бессмысленности бегства, а в «Самоубийстве» М.А. Алданова отчетливо звучат мотивы коренных изменений в быту и сознании, нарушения преемственности поколений» [Макарова 2020: 70].

Описания дома и семьи главных героев романов «Белая гвардия» и «Самоубийство», «Доктор Живаго» в революционное время «объединяют *мотивы разрушения, сожаления об утраченном, обречённости, фантасмагоричности,*

иллюзорности, призрачности бытия. Вместе с тем, стоит отметить и существенные различия в языковой репрезентации домашнего очага в эпоху революционных преобразований. В прозе автора – свидетеля революции – явно звучит мотив фатальной поспешности, бессмысленности бегства, тогда как писатель-эмигрант не придаёт столь существенного значения этим аспектам общественных умонастроений в эпоху перемен, при этом выдвигая на передний план иные мотивы; описывает процессы, лишь зарождавшиеся в момент коренного перелома политической и общественной жизни страны» [Макарова 2022: 69]. По причине их постепенного развития эти процессы стали заметны лишь многие годы спустя. Похожие мотивы звучат и в романе «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака. Таблица 6 позволяет сравнить литературные мотивы в описании дома в художественной прозе Советской России и русского зарубежья.

Таблица 6. Ключевые мотивы в описании дома в художественной литературе первых десятилетий XX века

Мотив	Русское зарубежье	Советская Россия
благополучия	+	+
предчувствия утраты	+	+
преемственности поколений и нарушения преемственности	+	+
фантазмагоричности	+	+
утраты и сожаления об утраченном	+	+
мотив обречённости	+	–
мотив разрушения	+	–
мотив коренных изменений в быту и сознании	+/-	+
мотив фатальной	–	+

поспешности		
мотив тревоги	–	+/-

Общими в творчестве писателей, живших в Советской России, и авторов, переехавших за рубеж после революции 1917 года, можно считать мотивы благополучия, предчувствия утраты, преемственности поколений и нарушения преемственности, фантазмагоричности, утраты и сожаления об утраченном, мотив нарушения преемственности поколений. Для описаний дома в литературе русского зарубежья характерны мотивы обречённости и разрушения, не представленные в творчестве авторов, проживающих в Советской России. В свою очередь в прозе российских писателей проявляются мотивы коренных изменений в быту и сознании, фатальной поспешности, не отражённые в литературе русского зарубежья.

Вместе с тем, тождественные мотивы не всегда одинаково лингвистически представлены в творчестве писателей русского зарубежья и Советской России. Так, мотивы благополучия, изобилия, преемственности поколений символически выражает семейный праздник. Если в сознании писателей-эмигрантов это в первую очередь религиозный праздник, лингвистически представленный в художественных текстах детальным описанием церковной атрибутики; то писателями Советской России семейный праздник ассоциируется скорее с изобильным дружеским застольем, церковная лексика не представлена в описаниях дома и домашнего очага. Существуют различия и в символике цвета: ностальгические мотивы преемственности, изобилия и благополучия в художественной литературе российских авторов передаются не только цветосимволами *белый, золотой, серебряный*, но и *бронзовый* и *зелёный* с множеством его оттенков.

В лингвистической реализации мотива фантазмагоричности в описании дома в художественных текстах писателей-свидетелей революционных событий, живших в Советской России в период с 1917 по 30-е годы XX века и русском зарубежье цветовая символика также играет значимую роль. Мотив

фантазмагоричности в литературных текстах писателей-эмигрантов выражен цветосимволом *синий*, ассоциируемым в русской лингвокультуре с мистикой и сверхъестественными силами. При подобном восприятии новые постреволюционные реалии предстают в языковом сознании эмигрантов как нечто inferнальное, формируя семантическую оппозицию «святой, божественный – дьявольский». При этом первый компонент этой оппозиции связан с дореволюционным домом, второй – с новыми культурно-бытовыми реалиями жизни в изгнании. В творчестве авторов, проживавших на родине, подобная ассоциация с синим цветом не встречается.

В текстах художественной литературы Советской России мотив фантазмагоричности составляет некую преемственность с мотивами благополучия и изобилия в плане использования цветовой символики *белого*, (метафора «дом накрыло шапкой белого генерала» [Булгаков 2018: 11], лексикой с общей семантикой «метель»). Если белый цвет в благополучном дореволюционном доме ассоциировался с чистотой и порядком, то в революционную эпоху белая метель застилает глаза, очертания новой реальности нечётко проглядывают сквозь снежную пелену.

Мотив предчувствия встречается в текстах художественной литературы как писателей-эмигрантов, так и в творчестве российских авторов, однако лингвистическое выражение этого мотива в двух вышеназванных ветвях русского языка существенно отличается. Если в художественных произведениях русского зарубежья мотив предчувствия представлен лексикой с семантикой неизбежности, фатальности и нерешительности, то в языковом сознании авторов, не покидавших родину, этот мотив в большей степени связан с двумя существенно семантически и коннотационно отличающимися ассоциативными полями: смертью (*могила, усыпальница, катафалк*, цветосимвол *чёрный*) и «светом во тьме» (*магический свет, неясные тени на границе света и тьмы, освещённый лампой круг*). Подобная репрезентация мотива предчувствия в литературе Советской России с одной стороны подчёркивает неизбежность отмирания старого, необратимость нагрянувших перемен, воспринимаемых как нечто сверхъестественное

(словосочетание *суеверный ужас*, определение *зловещий*) и даже противоестественное; с другой стороны убеждает, что есть надежда на «светлое завтра» (семантическое поле «свет во тьме»), то есть благоприятный исход политических и социальных преобразований в России, на то, что тьма рассеется. Эта идея не представлена в творчестве писателей-эмигрантов. В языковом сознании представителей русского зарубежья ключевой становится идея сомнений и нерешительности.

Общий для художественной литературы Советской России и русского зарубежья мотив разрушения по-разному лингвистически репрезентируется. Так, в прозе писателей-эмигрантов этот мотив олицетворяет *человек в чёрной кожаной куртке*, в то время как в российской литературе мотив разрушения не представлен антропоморфными метафорами и лексически выражается словосочетаниями с неодушевлёнными объектами (*хаос укладки, абажур сдёрнут с лампы*).

Мотив нарушения преемственности поколений, представленный как в прозе русского зарубежья, так и в художественной литературе Советской России, с языковой точки зрения представлен по-разному: авторы-эмигранты ассоциируют нарушение преемственности с подростками, описание которых основано на перечислении множества отрицательно окрашенных определений (*буйные, дерзкие, скандалившие, грубившие*). Стоит предположить, что в эмигрантской художественной прозе это негативное описание подростков в эпизодах, характеризующих новый *дом* революционного периода, распространяется гораздо шире: не только на дом и его новых обитателей, но и на молодое поколение постреволюционной России, на всё её общество.

Мотивный анализ позволил выявить сходства и различия в системах мотивов, используемых для описания понятия «дом» в художественных текстах писателей-свидетелей революционных событий, живших в Советской России в период с 1917 по 30-е годы XX века и русском зарубежье в это время, сопоставить отдельные фрагменты языковой картины мира носителей языка исследуемого периода.

Проведённый мотивный анализ подтверждает одно из положений гипотезы настоящего исследования: элементы, возникшие в семантической структуре понятия «дом» в языковом общественном сознании Советской России и русского зарубежья в первые десятилетия XX века, во многом совпадают, но не всегда являются тождественными.

Выводы по Главе 3

Исследование, представленное в Главе 3, позволяют сделать следующие выводы: революционные события 1917 года оказали значительное влияние на развитие русского языка на различных уровнях: лексическом (новые способы номинации и словообразования, изменение значений слов, утрата целых пластов лексики), морфологическом (упрощение грамматических форм), синтаксическом (с одной стороны – упрощение синтаксиса в повседневной и литературной речи, с другой – использование эмоционально-экспрессивных синтаксических конструкций в публицистике), стилистическом (шаблонность речи, немотивированная патетика революционных речей и текстов периодических изданий).

Дом становится важнейшим образом, символизирующим перелом, сопровождающий революционную эпоху, его семантика претерпевает значительные изменения: были утрачены значения личного закрытого ограждённого пространства; места рождения и жизни человека; защищенного *своего* жилища человека в отличие от *чужого* пространства, центра семейного очага; формы жилища, объединяющей членов семьи, родственников; пространства, где сосредоточены уют, тепло, комфорт, важные для конкретного человека; место эмоциональной привязанности человека. Исчезает семантическое поле *дом – храм, дом – воплощение самого человека*.

Активно вытеснялись на языковую и культурную периферию следующие значения слова «дом»: правящая династия; семейное торговое предприятие; учреждение увеселительного типа; особая организация благотворительного характера. Происходит расщепление исследуемого понятия на частные составляющие: культурно-просветительские учреждения, органы самоуправления, места постоянного пребывания определенных социальных групп.

Слово «дом» в значении *домашний очаг* гораздо реже используется в речевой практике, его заменяют менее эмоционально окрашенные лексемы,

соответствующие духу эпохи (*комната, жилплощадь, квартира, уплотнение, самоуплотнение*).

Метод мотивного анализа позволил определить и проанализировать существенные изменения семантики слова «дом» в языковом сознании носителей русского языка, отражённые в текстах художественной литературы, и выявить сходства и различия в восприятии дома писателями, находившимися в исследуемый период в разных социальных ситуациях.

Метафора «дом – морское дно» лексически репрезентирует мотив благополучия. Домашний очаг лингвистически представлен множеством интерьерных деталей: *оливковая мебель, кровати с блестящими шпешечками, ковры турецкие с чудными завитушками, фисташковые гардины, портьеры; цветосимволами зелёный, бронзовый, белый, золотой, серебряный*.

Семейный праздник с дружеским застольем – символическое выражение мотива изобилия, в мельчайших деталях изображённого в текстах художественной литературы. Лексически мотив изобилия представлен цветосимволом *белый*, лексикой с семантикой радости: *смеяться, все аплодировали, веселящий состав, веселились до утра, мороженое, шампанское*.

Мотив преемственности поколений ассоциативно связан с мотивами благополучия, изобилия и реализуется в следующих символах: *ёлка, настенные часы с маятником, печь, абажур*.

Мотив предчувствия выражен негативно окрашенными лексемами с общей семантикой «предчувствие» (*страшный, зловещий, суеверный ужас*), «смерть»: *катафалк, усыпальница, могила*; цветосимволом *чёрный*, лексикой ассоциативного поля «свет во тьме»: *сверхъестественный, магический свет, неясные тени, освещённый лампою круг*.

Мотив сожаления об утраченном лингвистически реализуют глаголы в сослагательном наклонении (*прекрасно можно было бы закусить и выпить чайку, если б не все эти мрачные обстоятельства*), лексика ассоциативного поля «разбитая посуда» (*трещина в вазе, разбитый сервиз, собирать осколки*),

лексика с семантикой сожаления (*сервиз безумно жаль*), олицетворения предметов быта (*самовар поёт зловеще*).

Мотив фантазмагоричности выражен символами *метель, снег*; метафорой «жизнь-детская игра»; лексемами с семантикой «беспорядок».

Языковым выражением мотива разрушения являются словосочетания *абжур сдёрнут с лампы, хаос укладки, всё разорено*.

Лингвистическую репрезентацию мотива тревоги составляют олицетворения «*по всему дому сухим ветром пронеслась тревога*», «*пятна жарко пляшут на полу*».

Мотив коренных изменений в быту и сознании представлен ухудшением условий жизни. Лингвистически этот мотив репрезентирован определениями с семантикой «обветшание» (*покосившийся, полубвалившийся*); словосочетаниями с семантикой «неуместность»: *обесмысливало великолепие закуски, отступление от условий времени*; смысловой заменой слова «дом» на семантически нейтральные синонимы (*жилища, пристанища*); многократным лексическим повтором определений *лишний, странный*, характеризующим не только условия быта, но и людские чувства.

В отличие от художественной прозы Советской России, мотив коренных изменений в быту и сознании представлен в литературе русского зарубежья только в более поздних произведениях. В прозе российских авторов мотивы разрушения и разорения, характерные для творчества писателей русского зарубежья, не являются столь значимыми и представлены только в прозе отдельных авторов.

Заключение

Настоящая работа посвящена исследованию эволюции переломного понятия революционного времени – дом – на основе художественных мотивов, отражённых в прозе русских авторов и писателей-эмигрантов и выявляет изменения в семантической структуре исследуемого понятия в языковом общественном сознании Советской России и русского зарубежья в период с 1917 по 30-е годы XX века в сравнении с дореволюционным временем.

Последние десятилетия XIX – начало XX в. – один из наиболее значимых этапов в развитии русского языка. Противоречивые общественно-политические, экономические, и культурно-исторические процессы привели к значительным изменениям как в разговорной речи, так и в литературном языке в целом.

Ключевыми языковыми процессами того времени были:

- вхождение разговорных элементов в книжные стили литературного языка;
- дифференциация публицистических жанров и возрастание их роли в общественной жизни;
- стилистическая дифференциация лексики и грамматических форм, сосуществование социально-маркированных вариантов русского языка;
- появление символики цвета с социально-политическим контекстом;
- широкое внедрение в речевой обиход иностранных заимствований из научной и политической, культурной сфер.

В языке художественной прозы уже в дореволюционное время наблюдается тенденция к демократизации, которая выражалась в следующих процессах:

- переосмысление литературной нормы, уход от образцов изящной словесности в художественной прозе;
- отвержение старых литературных норм и некоторых художественных приёмов;
- зарождение символистского романа с доминирующей фигурой автора-повествователя;

- стирание границ между поэзией и прозой, возникновение ритмической прозы.

Дальнейшая судьба ключевых тенденций развития русского языка в первой половине XX века представлена в таблице 7.

Таблица 7. Ключевые тенденции развития русского языка в первой половине XX в.

Языковая тенденция начала XX века	Развитие тенденции в Советской России 20-х годов	Развитие тенденции в языке русского зарубежья 20-х годов
вхождение разговорных элементов в книжные стили литературного языка	+	–
дифференциация публицистических жанров и возрастание их роли в общественной жизни	+	+
социальная маркированность лексики	+	+
появление символики цвета с социально-политическим контекстом	+	+
иностранные заимствования	+	+/-

Демократизация являлась основной тенденцией развития русского языка в Советской России в первые десятилетия её существования. Снижение стиля,

использование просторечий, жаргонизмов стало отличительной чертой развития не только бытового и социально-политического дискурса, но и языка художественной прозы. Русское зарубежье, напротив, тяготело к возрождению бесспорной, политически не маркированной русской классики начала XIX века, что привело к возрождению литературных традиций, ушедших в забвение на рубеже XIX–XX вв.

Представителями русского зарубежья резко критиковалась и возникшая на родине в 20-е годы XX века лингвистическая тенденция к заимствованиям из немецкого языка по способу калькирования (*выглядеть, в общем и целом* и т.п.). Эмиграция всеми силами пыталась оградить родную речь от вторжения в неё новых иностранных слов и, тяготея к языковой реставрации, пыталась даже заменить уже давно существовавшие интернационализмы на эквиваленты с исконно русскими корнями. Эта тенденция, впрочем, не получила широкого распространения. Несмотря на стремление представителей русского зарубежья уберечь родной язык от новых заимствований, они всё же проникали в речевой обиход эмигрантов для наименования социокультурных реалий стран пребывания.

Значимость публицистических жанров оставалась очень высокой в 20–30-е годы XX века как в Советской России, так и в русском зарубежье. Во многом именно периодическими изданиями формировалась картина мира того времени, задавался социальный маркер языковых единиц, создавался образ врага, для эмиграции – внешнего, обитающего на поруганной российской земле, а в новом социалистическом государстве – как внешнего (пребывающего в недружественных странах), так и внутреннего (притаившегося на своей земле). Именно с этим делением языковой картины мира на «свои – чужие», а в эмиграции ещё и на «мы – они», связана и социальная маркированность лексики, социально-политический контекст символики цвета «белый – красный». В этой цветовой семантической оппозиции существовали как тождественные ассоциации, присущие как языку эмиграции, так и Советской России (семантическое поле «близость»: *дружественный – враждебный*, «закон»:

справедливый – насильственный), так и отличные, характерные только для одной из двух противоборствующих сторон. Так, в семантическом поле «власть» в советском языковом сознании закрепились ассоциации *освободительный – тиранический*, в эмигрантском – *самодержавный/верноподданный – захватнический*. Для картины мира, сложившейся в Советской России, оппозиции «белый – красный» были несвойственны такие семантические поля, существовавшие в языковом сознании русского зарубежья, как «здоровье»: *здоровый – больной/заразный*; «чистота»: *чистый/светлый – кровавый/грязный*; «религия»: *ангельский – греховный, божественный – адский*. Вместе с тем, в языке эмиграции отсутствовал характерный для советского дискурса ассоциативный ряд «красный – белый» в семантическом поле «развитие»: *прогрессивный/новаторский – реакционный/контрреволюционный*, и «время»: *новый – старый* с негативной оценкой второго компонента.

Искоренение религиозных верований из общественного сознания Советской России неизбежно повлекло за собой исчезновение из языковой картины мира целой системы понятий, представлений и ассоциаций, связанных с церковными традициями. Некоторые церковнославянские слова изменили свою семантику, но большинство было преданы забвению. Чего нельзя сказать о варианте русского языка эмиграции, где этот пласт лексики не только полностью сохранил свою значимость, но и оказался весьма продуктивен в социально-политическом дискурсе, художественной литературе и даже повседневном речевом обиходе. Церковнославянские слова и архаизмы в языковой картине мира русского зарубежья обеспечивали связь с родиной, её дореволюционным прошлым, вечными духовными ценностями.

Резкой критике со стороны эмиграции подверглись новые языковые процессы Советской России:

- использование штампов и клише, возникших в годы революции;
- аббревиация как продуктивный способ наименования новых предметов и явлений;

- семантические изменения лексики в связи с новыми социально-политическими и культурными реалиями.

По отношению к языковой реформе, проект которой был подготовлен ещё до революции, русское зарубежье также занимало негативную позицию, долгое время продолжая пользоваться старым вариантом орфографии. В Советской России языковая реформа была успешно реализована. По мнению многих лингвистов, упрощение орфографии, предусмотренное реформой, положительно сказалось на повышении уровня грамотности в стране.

Итак, лингвистические тенденции, возникшие в разговорном и литературном вариантах русской речи Советской России, не поддерживались эмиграцией, стремившейся к возвращению к литературным нормам начала и середины XIX века, к сохранению классического варианта языка неизменным.

Для русской языковой картины мира дореволюционного времени дом был ключевым понятием. Его семантика включала следующие значения: личное закрытое ограждённое пространство, место рождения и жизни человека, защищенное своё жилище человека в отличие от чужого пространства, центр семейного очага; форма жилища, объединяющие членов семьи, родственников; пространство, где сосредоточены уют, тепло, комфорт, важные для конкретного человека; место эмоциональной привязанности человека, династия, особые организации благотворительного характера, семейное торговое предприятие, учреждение увеселительного типа.

В 1920-1930-е гг. понятие «дом» утрачивает своё значение центра семейного очага, защищённого *своего* жилища в отличие от *чужого* мира. Из языкового сознания того времени уходят ассоциации дома с пространством, где сосредоточены уют, тепло, комфорт, важные для конкретного человека; место эмоциональной привязанности личности. Исчезает семантическое поле «дом – храм», «дом – воплощение самого человека».

Из актива в пассив переходят следующие значения слова «дом»: правящая династия; семейное торговое предприятие; учреждение увеселительного типа; особая организация благотворительного характера. Происходит расщепление

исследуемого понятия на частные составляющие: *культурно-просветительские учреждения, органы самоуправления, места постоянного пребывания определенных социальных групп.*

Само слово «дом» уходит из активного употребления в речевом обиходе, на смену ему приходят менее эмоционально окрашенные лексемы «жилплощадь», «квартира», «уплотнение», «самоуплотнение».

Напротив, в языковом сознании эмигрантов значимость понятия «дом» и его ассоциативно-эмотивная составляющая не только сохраняется, но и усиливается в связи с изгнанием и вынужденным проживанием вдали от родины. В лексико-смысловой структуре понятия «дом» в языковой картине мира русского зарубежья на передний план выходят следующие семантические поля: отсутствие дома, бездомье, семья, страна, религия, история, возрождённая Россия.

Описание дома в русской художественной литературе дореволюционной России и русского зарубежья связано со следующими аспектами: *просторное и уютное жилое пространство, благополучный быт, его эстетизация, система устойчивых межличностных отношений, семейные традиции, незыблемые нравственные ценности, преемственность поколений.*

В эмигрантской прозе идея чистоты домашнего очага, выраженная цветосимволом *белый*, ассоциируемым в русской лингвокультуре с порядком, уютом, внешней и внутренней красотой, преумножает свою значимость на фоне хаоса внешнего мира и бытовой необустроенности. Языковая репрезентация слова «дом» в художественной литературе русского зарубежья основана на световых ассоциациях: лампа, светильник, горящие свечи, пылающий камин противопоставляются мраку и неизвестности внешнего мира. Закрытые окна, запертые двери и каменные символизируют как защиту, так и потерю связи с родиной.

На основе изученных исследований российских и зарубежных авторов было уточнено понятие *мотив* в художественной литературе, под которым в настоящей работе понимается многократно повторяющийся в тексте динамический повествовательный компонент художественного произведения, который,

преломляясь через авторское мировосприятие, описывает отдельный фрагмент языковой картины мира.

Были определены основные характеристики мотива: *динамичность, неделимость, семантическая насыщенность, ситуативность (контекстуальность), схематичность, повторяемость* в художественном тексте, в творчестве отдельного автора и в языковой картине мира в целом.

Изучение языкового отражения понятия «дом» в художественной литературе Советской России и русского зарубежья на основе мотивного анализа позволило выявить сходства и различия в индивидуальном (особенности авторского понимания слова «дом» и ассоциативно связанных с ним лексем) и общественном (использование слова «дом» в речевой практике языкового сообщества русского зарубежья и Советской России); сформулировать вывод о его исторической и социокультурной обусловленности. Восприятие дома в языковом сознании автора одновременно отражает и фиксирует семантические изменения в этом слове, произошедшие вследствие переломных событий российской истории, и формирует фрагмент языковой картины мира, связанный со словом дом.

Ключевые мотивы в описании дома в творчестве М.А. Алданова, М.А. Булгакова, Б.Л. Пастернака. отражает следующая таблица.

Таблица 8. Ключевые мотивы в описании дома в творчестве М.А. Алданова, И.А. Бунина, М.А. Булгакова, Б.Л. Пастернака.

<i>М.А. Алданов, И.А. Бунин</i>	<i>М.А. Булгаков</i>	<i>Б.Л. Пастернак</i>
мотив благополучия		
мотив преемственности поколений		
мотив праздника		мотив праздника
мотив сожаления об утраченном		
мотив фантасмагоричности		
мотив обречённости		

мотив нарушения преемственности		мотив нарушения преемственности
	мотив фатальной поспешности, бессмысленности бегства	
мотив коренных изменений в быту и сознании		мотив коренных изменений в быту и сознании
мотив нарушения преемственности		мотив нарушения преемственности

В описании дома дореволюционного времени наблюдается единодушие взглядов писателей: на первый план выходят ностальгические *мотивы благополучия* (поддержан символами: белоснежная скатерть; круглая, затянутая атласом гостиная, тяжёлые фисташковые гардины) и *преемственности поколений* (поддержан символами: часы, печь, самовар, абажур, шкафы с книгами). При этом писатели русского зарубежья склонны к ностальгическому воспроизведению в текстах художественной литературы культурно-бытовых реалий дореволюционной эпохи. В их произведениях отчётливо звучит *мотив жизни как праздника и праздника как традиции* (сопряжён с символами: дружеская беседа, изобильное застолье, рождественская ёлка, шампанское). Вместе с тем уже в эпизодах, описывающих благополучную жизнь дореволюционного времени, появляется мотив предчувствия утраты, выраженный метафорическими символами «гардероб чёрного дерева – аскольдова могила», «самовар <...> поёт зловеще».

В эпизодах, относящихся к революционным событиям, дом и домашний очаг характеризуют противоположные мотивы: *утраты и сожаления об утраченном, обречённости, фантасмагоричности*, что выражается в следующих символах: «содранный со стен шёлк», «жирная утка – невиданная роскошь»,

«неприлично теперь пить шампанское», «сервиз безумно жаль», метафорами «трещина в вазе турбинской жизни», «из эвклидоваго мира в мир геометрии Лобачевского», «по всему дому сухим ветром пронеслась тревога».

Мотивы коренных изменений в быту и сознании, нарушения преемственности присутствуют в творчестве как писателей эмигрантов, так и авторов, пребывавших на родине, с той лишь разницей, что мотив этот отражается в художественных текстах, написанных через много лет после революции 1917 и с позиции автора, чьи произведения, так или иначе характеризующие это историческое событие, были опубликовано в 20-е годы, этот мотив ещё неразличим.

Общими в творчестве писателей, живших в Советской России, и авторов, переехавших за рубеж после революции 1917 года, можно считать *мотивы благополучия, предчувствия утраты, преемственности поколений и нарушения преемственности, фантасмагоричности, утраты и сожаления об утраченном, мотив нарушения преемственности поколений*. Для описаний дома в литературе русского зарубежья характерны *мотивы обречённости и разрушения*, не представленные в творчестве авторов, проживающих в Советской России. В свою очередь в прозе российских писателей проявляются *мотивы коренных изменений в быту и сознании, фатальной поспешности, тревоги*, не отражённые в литературе русского зарубежья.

Мотивный анализ также позволил выявить отличия в языковой репрезентации слова «дом» в текстах художественной литературы русского зарубежья и Советской России. Так, взаимосвязанные мотивы благополучия, изобилия, преемственности поколений символически представлены семейным праздником, в то же время в сознании писателей-эмигрантов это в первую очередь религиозный праздник, лингвистически представленный в текстах художественных произведений номинацией множественных церковных атрибутов; при этом в прозе Советской России семейный праздник ассоциируется скорее с изобильным дружеским застольем, лексические единицы религиозной семантики исчезают со страниц художественной литературы. Эти

ностальгические мотивы передаются цветосимволами *белый, золотой, серебряный*, однако в художественных текстах российских авторов значимую роль при ностальгическом описании дореволюционного дома играют также и цветосимволы *зелёный с множеством его оттенков и бронзовый*.

Лингвистическая репрезентация слова «дом» в дореволюционную и революционную эпоху основана на семантических оппозициях «внешнее – внутреннее», «прошлое – настоящее», «мы – они», «свои – чужие», «святое, божественное – дьявольское», «свет – темнота». Эти оппозиции поддерживают архетипический *мотив потери дома*, последующего за ним *бездомья, одиночества, изгнания*.

Проведённый анализ мотивов позволил выявить изменения семантики понятия дом и сопоставить языковую картину мира носителей языка Советской России и русского зарубежья на фоне революции и в первые послереволюционные десятилетия и позволил сформулировать следующие выводы:

1. На изменения ключевых понятий лингвокультуры, к которым относится дом, влияют исторические события (революции и др.) при этом трансформация содержания общественно важных понятий не всегда тождественна в разных социальных группах.
2. Изменение семантики слова «дом», представленное в текстах художественных произведений русской литературы, отражает трансформации в лингвокультуре того времени.
3. В художественных текстах писателей-свидетелей революционных событий, живших в период с 1917 по 30-е годы XX века в Советской России и за рубежом, понятие дом представлено как комплекс взаимодополняющих мотивов.
4. Элементы, возникшие в семантической структуре слова «дом» после революции в лингвокультуре Советской России и русского зарубежья в период с 1917 по 30-е годы XX века, не всегда являются тождественными.

Перспективы дальнейшего исследования семантики слова «дом» могут быть связаны с наблюдением над русским языком конца XX – начала XXI века и анализом семантических изменений этого слова в русской лингвокультуре этого периода.

Библиографический список

1. Агеносов, В.В. Литература русского зарубежья. – М.: Terra-Спорт, 1998. – 544 с.
2. Апресян, Ю.Д. Лексическая семантика: Синонимические средства языка. – Москва: Наука, 1974. – 366 с.
3. Арутюнова, Н.Д. Номинация и текст // Языковая номинация. – М.: Наука, 1977. – 395 с.
4. Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека. – М.: Язык русской культуры, 1999. – 895 с.
5. Афанасьева, С.И. Концепт дом в русской лирике первой волны эмиграции: крымский дискурс: дис. ... к.филол.н. Специальность 10.01.02. – русская литература. – Ставрополь, 2014.
6. Базылова, Л.А. Концепт дом в индивидуально-авторской картине мира А. Ахматовой // Вестник Челябинского гос. пед. ун-та. 2009. № 6. – С. 202–209.
7. Бархударов, С.Г. Русская советская лексикография за 40 лет // Вопросы языкознания, 1957, № 5. – с. 31–45.
8. Бахтин, М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 424 с.
9. Белецкий, А.И. В мастерской художника слова // Белецкий А.И. Избранные труды по теории литературы. – М.: Высшая школа, 1964. – 157 с.
10. Беликов, В.И., Крысин Л.П. Социоллингвистика. – М.: Изд-во РГГУ, 2001. – 436 с.
11. Белов, В.И. Лад: очерки о народной эстетике. – М.: Институт русской цивилизации, 2013. – 509 с.
12. Бельчиков, Ю.А. Русский литературный язык: стилистика, лексика, история. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 318 с.
13. Бельчиков, Ю.А. Русский язык XX век. – М.: Центр оперативной печати факультета иностранных языков МГУ им. М.В. Ломоносова, 2003. – 318 с.

14. Бем, А. Церковь и русский литературный язык. – Прага: Рус. учён. акад. 1944. – 66 с.
15. Берберова, Н.Н. Люди и ложи // Вопросы литературы, 1990. – №1. – с.140–197.
16. Бердяев, Н.А. Кризис искусства. – М.: Издание Г.А. Лемана и С.И. Сахарова, 1918. – 47 с.
17. Бердяев, Н.А. Русская идея: Основные проблемы рус. мысли XIX в. и нач. XX в.; Судьба России / Н.А. Бердяев. – М.: Шевчук, 2000. – 540 с.
18. Бицилли, П.М. Нация и язык / Серия литературы и языка. Т. 51. № 5, 1992 // Известия Академии наук, сентябрь-октябрь 1992. – С 68–84.
19. Болдырев, Н.Н. Концептуальное пространство когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. №1. – С. 18–37.
20. Брандт, Р.Ф. Демократизация русской грамоты. – М., 1917. – 16 с.
21. Вайль, П. Стихи про меня. – М.: КоЛибри, 2006. – 688 с.
22. Ван дер Энг, Я. Приём: центральный фактор семантического построения повествовательного текста / Structure of Textsand Semiotics of Culture. – Mouton, Paris, 1973. – 40 с.
23. Васильев, А.Д. Историко-культурный аспект динамики слова. – Красноярск: Изд-во Красноярского педагогического университета, 1994. – 196 с.
24. Вежбицкая, А. Сопоставление культур через посредство лексики и грамматики. – М.: Яз. славян. культуры, 2001. – 272 с.
25. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1996.– 411 с.
26. Верещагин, Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного, 4 изд. – М.: Русский язык, 1990. – 246 с.
27. Верещагин, Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура. Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, речеповеденческих тактик и сапиентемы. – М.: Индрик, 2005. – 1040 с.
28. Веселовский, А.Н. Историческая поэтика. – Л.: Гослитиздат, 1940. – 648 с.

29. Виноградов, В.В. История слов. – М.: Рос. акад. наук. Отд-ние лит. и яз. Науч. совет "Рус. яз.". Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова, 1999. – 1138 с.
30. Виноградов, В.В. История русских лингвистических учений. М.: Высшая школа, 1978. – 367 с.
31. Виноградов, В.В. Проблемы литературных языков и закономерности их образования и развития. – М., 1967.
32. Виноградов, В.В. О языке художественной прозы. – М.: Наука, 1980. – 360 с.
33. Виноградов, В.В. О некоторых вопросах русской исторической лексикологии// Известия АН СССР, Отд. Литературы и языка, 1953, вып. 3. – с. 3–30.
34. Виноградов, В.А., Коваль А.И., Порхомовский В.Я. Социолингвистическая типология. – М.: Книжный дом «ЛИБРИКОМ», 2014. – 136 с.
35. Винокур, Г.О. Язык нашей газеты // Леф, 1924. – №2. – С 117–140.
36. Винокур, Г.О. Избранные работы по русскому языку. – М.: Учпедгиз, 1959. – 492 с.
37. Воркачѳв, В.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // Филологические науки. 2001. №1. – С. 64–71.
38. Воробѳѳв, В.В. Культурологическая парадигма русского языка. Теория описания языка и культуры во взаимодействии. – М.: ИРЯ им. А.С. Пушкина, 1994. – 75 с.
39. Воробѳѳв, В.В. Лингвокультурология. – М.: РУДН, 2008. – 336 с.
40. Воробѳѳв, В.В., Василюк И.П., Парамонов Д.А., Шмелькова В.В. Прикладная лингвокультурология: слово и образ жизни русского народа. Москва: РУДН, 2022. – 409 с.
41. Воротников, Ю.Л. Слова и время. – М.: Наука, 2003. – 168 с.
42. Габдуллина, С.Р. Концепт ДОМ/РОДИНА и его словесное воплощение в индивидуальном стиле М. Цветаевой и поэзии русского зарубежья первой

- волны (сопоставительный аспект). Автореф. дис. ... к.филолог.н. Специальность 10.02.01 – русский язык. – Москва, 2004.
43. Гаспаров, Б. М. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. – М.: Новое лит. обозрение, 1996. – 351 с.
44. Гаспаров, Б.М. Литературные лейтмотивы: Очерки русской литературы XX в. – М.: Наука: Изд. фирма "Вост. лит.", 1994. – 303 с.
45. Голубева-Монаткина, Н.И. Русская эмиграция о русском языке // Русская словесность. №3. 1994. С.73-77.
46. Городецкий, С. Всеобуч и всетруд // «Коммунист», 1920, 5. VI. № 28.
47. Грановская, Л.М. Русский литературный язык в конце XIX и XX вв.: Очерки. – М.: ООО «Издательство Элпис», 2005. – 448 с.
48. Грановская, Л.М. Русский язык в «рассеянии». Очерки по языку русской эмиграции первой волны. – М.: Ин-т рус. яз., 1995. – 142 с.
49. Грот, Я. Филологические разыскания. СПб.: тип. Имп. Акад. Наук, 1873. – 622 с.
50. Гумбольдт, В. Язык и философия культуры: перевод с немецкого языка / Вильгельм фон Гумбольдт; сост., общ. ред. и вступ. статьи А.В. Гулыш, Г.В. Рамишвили. – М.: Прогресс, 1985. – 451 с.
51. Гумилёв, Л.Н. Этногенез и биосфера Земли / Л.Н. Гумилёв. - СПб.: Кристалл, 2001. – 638 с.
52. Денисенко В.Н., Рыбаков М.А. Метод поля в лексической семантике. – Москва: Российский ун-т дружбы народов, 2014. – 68 с.
53. Душенко, К.В. Понятия «белые», «белогвардейцы», «белая армия» в небольшевистской печати времён Гражданской войны // Источниковедение и компаративный метод в гуманитарном знании. – М.: РГГУ, 1996. – С. 252–255.
54. Елизарова, М.М. Языковая личность эмигранта в рассказах Тэффи 1920-1940-х годов: дис. ... к. филолог. н. Специальность 10.02.01. – Санкт-Петербург, 1999. – 156 с.

55. Жирмунский, В.М. Национальный язык и социальные диалекты. – Л.: Гослитиздат, 1936. – 300 с.
56. Жирмунский, В.М. О синхронии и диахронии в языкознании // Вопросы языкознания, 1958, № 5. – С. 43–52.
57. Жирмунский, В.М. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – Л.: Наука, 1977 г. – 404 с.
58. Жолковский, А.К. Поэтика Пастернака: инварианты, структуры, интертексты. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 600 с.
59. Жулькова, К.А. Образ дома в русской литературе первой половины XX в. // Социальные и гуманитарные науки/ Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение: реферативный журнал. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук. 2019. №1. – с. 194–202.
60. Зеленин, А.В. Язык русской эмигрантской прессы (1919-1939). – СПб.: Златоуст, 2007. – 380 с.
61. Зеленин, А.В. Белые и красные // РЯШ, №4/1999. – С. 85–88.
62. Зеленин, А.В. *Белый* в русской эмигрантской публицистике // Русская речь №4/1999. – С. 76–80.
63. Зеленин, А.В. Белогвардейцы, золотопогонники... // Русская речь №6/1999. – С. 80–86.
64. Зеленин, А.В. Белый в русской эмигрантской публицистике // Русская речь №4/1999. – С. 76–80.
65. Зеленин, А.В. Красный в русской эмигрантской публицистике // Русская речь №5/1999. – С. 90–96.
66. Зеленин, А.В. Левые, правые, центристы... //РЯШ, 2000. №3. – С. 97–100.
67. Зеленин, А.В. Эмиграция глазами эмиграции // Русская речь, 2000. № 3. – С. 79–84.
68. Зеленин, А.В. Слова с приставкой анти-, противо- в эмигрантской публицистике // Русская речь, 2001. № 3. – С. 82–86.

69. Иванова, М.В. Историческая грамматика русского языка. – М.: Академия, 2013. – 126 с.
70. Иконникова, Я.В. Концепт дом как маркер оппозиции «свой-чужие» в прозе А.И. Куприна периода эмиграции (на материале повести «Купол Св. Исаакия Далматского») // Вестник Тамбовского ун-та. Серия: Гуманитарные науки. 2012. №9. – С. 257–261.
71. Ильин, И.А. О тьме и просветлении: Книга художественной критики: Бунин – Ремизов – Шмелёв. – М.: Скифы, 1991. – 202 с.
72. Калинин, И.М. Русская Вандея. – М.; Л.: Гос. изд-во, 1926. – 360 с.
73. Карасик, В.И. Культурные доминанты в языке // Языковая личность: культурные концепты. – Волгоград: Перемена, 1996. – С. 3–15.
74. Караулов, Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М.: КомКнига, 2006. – 261 с.
75. Карцевский, С.И. Из лингвистического наследия. – М.: Языки русской культуры, 2000. – 344с.
76. Карцевский, С.И. Язык, война и революция. – Берлин: Русское универсальное изд-во, 1923. – 72 с.
77. Киосе, М.И. Наименование в тексте: прямое и не прямое. – Москва: ОнтоПринт, 2014. – 322 с.
78. Климкова, Л.А. Ассоциативное значение слов в художественном тексте // Филологические науки, 1991 г. №1 – С. 45–54.
79. Кознова, Н.Н. Мемуары русских писателей-эмигрантов первой волны: концепции истории и типология форм повествования: автореф. дис. ... д. филолог.н. Специальность 10.01.01. – Москва, 2011. – 492 с.
80. Колесов, В.В. Философия русского слова. – СПб.: Юна, 2002. – 448 с.
81. Кон, И.С. Социологическая психология: Избр. психол. тр. / И. С. Кон. - М.: Моск. психол.-социал. ун-т; Воронеж: МОДЭК, 1999. – 554 с.
82. Кондаков, И.В. Роман «Доктор Живаго» в свете традиций русской культуры // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. – 1990 г. – Т 49. – №6. – С. 81–87.

83. Корнейчук, С.П., Скар, Г.Д. Концептуализация «Эстетики быта» в произведениях И.С. Тургенева и Л.Н. Толстого // Динамика языковых и культурных процессов в современной России [Электронный ресурс]. Вып. 6. Материалы VI Конгресса РОПРЯЛ (г. Уфа, 11–14 октября 2018 г.). СПб., 2018. – С. 325–330.
84. Костомаров, В.Г. Наш язык в действии // Знание. Понимание. Умение, 2008, № 1. – С. 34–37.
85. Костомаров, В.Г. Языковой вкус эпохи: из наблюдений над речевой практикой масс-медиа. – СПб.: Златоуст, 2019. – 293 с.
86. Кувшинов, Ф.Н. Квартира-дом в русской литературе 1920–1930-х годов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2016. – № 1 (55): В 2 ч. Ч. 2. – С. 23–25.
87. Купина, Н.А. Тоталитарный язык: словарь и речевые реакции. – Екатеринбург – Пермь: Изд-во Уральского университета, 1995. – 144с.
88. Ланская, О.В. Концепт дом в языковой картине мира (на материале повести Л.Н. Толстого «Детство» и рассказа «Утро помещика»): дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.01. Калининград, 2005. – 199 с.
89. Ларин, Б.А. Диалектизмы в языке советских писателей // Литературный критик № 11/1935.
90. Ларин, Б.А. Эстетика слова и язык писателя. – Л.: художественная литература, 1974. – 288 с.
91. Ларин, Б.А. История русского языка и общее языкознание. – М.: Просвещение, 1997. – 224 с.
92. Лилеева, А.Г. Поэзия и проза в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго» // Русская словесность. 1997. № 4. – С. 33–40.
93. Литературное зарубежье как культурный феномен: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. – М., 2017. – 281 с.
94. Лихачёв, Д.С. Воспоминания. – М.: АСТ, ОГИЗ, 2016. – 447 с.

95. Лихачёв, Д.С. Размышления над романом Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» // Пастернак Б. Доктор Живаго // Избранные произведения: В 2 т. СПб., 1998. Т. 2. – С. 135–146.
96. Лихачёв, Д.С. Русская речь, М., 1993, № 1. – С. 43–51.
97. Лихачёв, Д.С. Письма о добром и прекрасном / Д. С. Лихачёв. - Москва: АСТ, 2021. – 188 с.
98. Лотман, Ю.М. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства (XVII - начало XIX века) / Ю.М. Лотман. СПб.: Искусство, 1994. – 415 с.
99. Лотман, Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. – М.: Языки русской культуры, 1996. – 447 с.
100. Луначарский, А.В. Из воспоминаний о почивших борцах за пролетарскую культуру // Пролетарская культура, 1920, № 13-14. – С. 38–39.
101. Макарова, Е.В. Домашний очаг русской интеллигенции накануне революции в творчестве М.А. Алданова, М.А. Булгакова, Б.Л. Пастернака // Русский и иностранный языки: инновации, перспективы исследования и преподавания в вузах Таджикистана: сборник научных трудов Международной научно-практической конференции (г. Душанбе, 22 января 2020 г.). – Душанбе, Филиал МЭИ в г. Душанбе, 2020. – С. 186–191.
102. Макарова, Е.В. дом и семья в романах «Белая гвардия» М.А. Булгакова и «Самоубийство» М.А. Алданова: взгляд на революцию «изнутри» и «снаружи» // Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. – 2020. – Т. 162, кн. 5. – С. 62–71.
103. Макарова, Е.В. дом и семья в романе М.А. Булгакова «Белая гвардия» // Перспективные направления современной лингвистики: сборник научных трудов Международной научно-теоретической конференции. (г. Москва, 15–16 октября 2020 г.). – Москва: РУДН, 2020. – С. 291–297.
104. Макарова, Е.В. Ключевые мотивы в описании домашнего очага дореволюционной России в творчестве писателей-эмигрантов // Русистика в мировом пространстве: традиции и перспективы: Материалы

- Международной научно-практической конференции в онлайн-формате (Индия, 16–17 октября 2020 г.). – СПб.: МАПРЯЛ, 2021. – С. 361–366.
105. Макарова, Е.В. Понятие дом как базисная культурная константа в русском языке первой половины XX века // Вестник Пензенского государственного университета. №3. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2022. – С. 52–58.
106. Макарова, Е.В. Социокультурное понятие дом в русской литературе первой половины XX века: отражение ключевых мотивов и семантика // Актуальные проблемы русского языка и методики его преподавания: сборник статей XIX Всероссийской научно-практической конференции молодых учёных с международным участием (Москва, РУДН, 15 апреля 2022 г.). – Москва: РУДН, 2022. – С. 302–311.
107. Маркелова Т.В. Прагматика и семантика средств выражения оценки в русском языке. – Москва: Московский гос. ун-т печати им. Ивана Федорова, 2013. – 297 с.
108. Маслова, В.А. Когнитивная лингвистика: Учебное пособие. – Минск.: ТетраСистемс, 2004. – 256 с.
109. Маслова, В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2004. – 202 с.
110. Мелетинский, Е.М. О литературных архетипах. – М.: РГГУ, 1994. – 146 с.
111. Мелетинский, Е.М. «Историческая поэтика Веселовского и проблема происхождения повествовательной литературы / Историческая поэтика: итоги и перспективы изучения. – М.: Наука, 1986. – 337 с.
112. Мелетинский, Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. – Рос. гос. гуманит. ун-т. Ин-т высш. гуманитар. исслед. – М., 1998. – 571 с.
113. Мечковская, Н.Б. Социальная лингвистика. – М.: Наука, 1996. – 205 с.
114. Мечковская, Н.Б. Язык и религия. – М.: Гранд, 1998. – 349 с.
115. Милованова, М.С. Корреляция концептов «Любовь» и «Забота»: лингвоаксиологическая интерпретация // Верхневолжский филологический вестник. – 2023. – №4. – С. 130-141.

116. Милованова, М.С. Семантический потенциал лексемы радужно и её функционирование в современном русском языке // Современная российская аксиосфера: семантика и прагматика идентичности. – 2023. – С. 153-157.
117. Моисеенко Л.В. Прецедентность в лингвокогнитивном ракурсе (на примере медиатекста). – Воронеж: Научная книга, 2021. – 319 с.
118. Морараш, М.М. Семантико-когнитивное исследование концепта дом в романе В.В. Набокова «Машенька» // Научный диалог. – Екатеринбург, 2017. – № 8. – С. 104–115.
119. Набоков, В.В. Временное правительство: воспоминания. – М.: Изд-во МГУ: СП "Ост-Вест Корпорейшн", 1991. – 79 с.
120. Новиков, Л.А. Художественный текст и его анализ. – М.: Рус.яз., 1988. – 304 с.
121. Новикова, М.Л. Остраннение как основа образной языковой семантики и структуры художественного текста: на материале произведений русских писателей. – Москва: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2005. – 306 с.
122. Осьмухина, О.Ю., Короткова, Е.Г. Хронотоп квартиры в малой прозе М.А. Булгакова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – Тамбов, 2016. – № 12 (66): В 4 ч. Ч. 1. – С. 35–38.
123. Пассек, Т.П. Из дальних лет. – М.: ГИХЛ, 1963, т. 1. – 1012 с.
124. Пассек, Т.И. Из дальних лет: Воспоминания / Т. П. Пассек; под общ. ред. А. В. Луначарского. – Москва; Ленинград: Academia, 1931. – 460 с.
125. Пеньковский, А.Б. Очерки по русской семантике. – М.: Яз. слав. культуры, 2004. – 460 с.
126. Петров-Водкин, К.С. Хлыновск. Пространство Эвклида. Самаркандия. – Л.: Искусство, 1982. – 656 с.
127. Печерица, В.Ф. Восточная ветвь русской эмиграции. – Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 1994. – 188 с.

128. Полторацкая, С.В. Мотив «потерянной» России в эмигрантском творчестве И.А. Бунина и И.С. Шмелёва: дис. ... к. филолог. н. Специальность 10.01.01. – Белгород, 2006. – 219 с.
129. Попов, К.Г. Лейтмотивные слова в повести М. Горького «В людях» // Функциональная стилистика: Теория стилей и их языковая реализация. – Пермь, 1986. – С. 153-161.
130. Поршнева, Б.Ф. О начале человеческой истории: проблемы палеопсихологии. – М.: Трикста: Академический Проект, 2013. – 542 с.
131. Потебня, А.А. Мысль и язык. Харьков, 1913. – 205 с.
132. Потебня, А.А. Слово и миф. – М.: Правда, 1989. – 622 с.
133. Президент, М. Язык законов // Советское строительство, 1931. №4. – С. 143-144.
134. Попова, И.М., Хворова, Л.Е. Проблемы современной литературы. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. тех. ун-та, 2004. – 62 с.
135. Потпот, Р.М. История изучения концепта дом в отечественном языкознании // Вестник угроведения. 2013. №2. – С. 54–66.
136. Путилов, Б.Н. Мотив как сюжетобразующий элемент // Типологические исследования по фольклору: сб. ст. в память В.Я. Проппа. – М.: Наука, 1975. – 141–156 с.
137. Пчелинцева, М.А. Способы языковой оценки революционной эпохи в текстах русских писателей-эмигрантов первой волны: автореф. дис. ... к. филолог. н. Специальность 10.02.01. – Саратов, 2012. – 19 с.
138. Радомская, Т.И. дом и Отечество в русской классической литературе первой трети XIX века. – М.: Совпадение, 2006. – 240 с.
139. Раев, М.И. Россия за рубежом. История культуры русской эмиграции 1919-1939. – М.: Прогресс-академия, 1994. – 292 с.
140. Ржанова, С.А. Речевая культура как феномен массовой коммуникации «переходного периода»: автореф. дисс. ... доктора культурологии. – Саранск, 2006. – 34 с.

141. Ржевский, Л. Памяти Г.И. Гадзанова // Новый журнал. – 1972 г. – Т. 1 с. 106.
142. Розанов, В.В. Литературные очерки: Сб. статей. – СПб., 1899 г. – 220 с.
143. Романенко, А.П. Влияние документа на советскую художественную словесность // Художественный текст: онтология и интерпретация. – Саратов, 1992.
144. Русский язык конца XX столетия (1985-1995). Коллективная монография / Отв. ред. Е.А. Земская. – М.: ЯРК, 1996. – 477 с.
145. Сабенникова, И.В. Российская эмиграция (1917-1939): сравнительно-типологическое исследование. – Тверь: Золотая буква, 2002. – 429 с.
146. Самигулина Ф.Г. Феномен акцентуации характера языковой личности: психолингвистический и лингводидактический аспекты: монография / Ф.Г. Самигулина. – Ростов н/Дону, 2023. – 150 с.
147. Самигулина Ф.Г. Динамика гендерных стереотипов и современные языковые средства выражения гендерной идентичности в русской лингвокультуре / Ф.Г. Самигулина // Лингвокультурологические чтения: сборник статей Международной научно-практической конференции, проведенной в рамках I Международного лингвокультурологического форума «Лингвокультурология и коммуникативная реальность XXI века: новые вызовы – новое осмысление». – Москва, 2024. – С. 382-385.
148. Сафонова, В.В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций. – Воронеж: Истоки, 1996. – 238 с.
149. Селищев, А.М. Язык революционной эпохи: из наблюдений над русским языком (1917–1926). Изд. 3-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 248 с.
150. Сепир, Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: Прогресс, Универс, 1993. – 656 с.

151. Силантьев, И.В. Мотив как единица художественного повествования // Русская литература XIX–XX вв.: Поэтика мотива и аспекты литературного анализа. – Новосибирск: СО РАН, 2004. – 374 с.
152. Силантьев, И.В. Мотивный анализ. – М-во образования Рос. Федерации, Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 2004 (РИЦ НГУ). – 239 с.
153. Смирнов, Н. Краткий народный словарь. – СПб., 1906. – 306 с.
154. Соломник, А.Б. Философия знаковых систем и язык. – М.: URSS, 2020. – 408 с.
155. Сорокин, Ю.А. Введение в этнопсихолингвистику. – Ульяновск, 1998. – 190 с.
156. Соколова, Е.Н. Концепт дом и его развитие в национально-культурном контексте // Вестник Московского гос. лингв. ун-та. 2008. № 543. – С. 177–188.
157. Степанов, Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2001. – 990 с.
158. Стернин, И.А. Лексическое значение слова в речи. – Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1985. – 172 с.
159. Судаков, Г.В. Живое русское слово. – Вологда: Изд-во ВИРО, 2002. – 156 с.
160. Тарасова, И.А. Отражение индивидуальной картины мира в писательском тезаурусе (к проекту толково-идеографического словаря поэзии Г.В. Иванова // Вопросы стилистики. Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 28. – Саратов, 1999. – С. 254–261.
161. Тер-Минасова, С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учебное пособие для студентов и аспирантов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Лингвистика и межкультурная коммуникация" / С. Г. Тер-Минасова. – 3-е изд. – М.: Изд-во Московского ун-та, 2008. – 350 с.
162. Томашевский, Б.В. Теория литературы. Поэтика. – М., 1927. – 334 с.

163. Томашевский, Б.В. Писатель и книга (очерк текстологии). – Л.: Прибой, 1928. – 230 с.
164. Трубецкой, Е.Н. Свет Фаворский и преобразование ума: По поводу книги свящ. П.А. Флоренского «Столп и утверждение истины». – М., 1914 // Русская мысль. СПб., 1914. Кн. 5, отд. X. – С. 44.
165. Трубецкой, Н.С. Избранные труды по филологии. – М.: Прогресс, 1987. – 560 с.
166. Тэффи, Н.А. О русском языке // Русская речь. – М, 1988. – №5. – С. 65–68.
167. Тюпа, В.И. Тезисы к проекту словаря мотивов // Дискурс. – Новосибирск, 1995. – С. 52–55.
168. Уфимцева, А.А. Лексическая номинация (первичная нейтральная). – М.: URSS, 2010. – 88 с.
169. Федосюк, Ю.А. Что непонятно у классиков, или энциклопедия русского быта XIX века. – М.: Флинта – Наука, 2007. – 264 с.
170. Фещенко, О.А. Концепт дом в художественной картине мира М.И. Цветаевой (на материале прозаических текстов): дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.01. Новосибирск, 2005. – 216 с.
171. Хализев, В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2002. – 438 с.
172. Хан-Пира, Эр. Репрессированная лингвистика // Русская речь, 1993, № 5. – с. 105 – 111.
173. Хомский, Н. О природе и языке. – М.: URSS: Ленанд, 2017. – 285 с.
174. Хроленко, А.Т. Основы лингвокультурологии. – М.: Флинта – Наука, 2004. – 184 с.
175. Чагин, А. Расколота лира (Россия и зарубежье: судьбы русской поэзии в 1920-1930 годы). – М.: Наследие, 1998. – 269 с.
176. Чернышев, В.И. Избранные труды. М.: Просвещение, 1970. Т.1. – с. 303–317.
177. Чеснокова О.С. Интерпретация художественного текста: русско-испанский диалог. – Москва: ИНФРА-М, 2018. – 172 с.

178. Чудинов, А.П. Политическая лингвистика. – Екатеринбург: Уральский гуманитарный институт, 2003. – 194 с.
179. Шаклеин, В.М. Лингвокультурная ситуация и исследование текста. – М.: ОЛРС, 1997. – 180 с.
180. Шаклеин, В.М. Историческая лингвокультурология. – М.: Флинта, 2012. – 301 с.
181. Шаклеин, В.М., Цуй Ливэй, Микова, С.С. Лингвокультурные образы России и Китая в художественных произведениях представителей русской дальневосточной эмиграции. – Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2017. – 170 с.
182. Шалыгина, С.Г. Понятие «мотив» и его интерпретация в теории литературы и музыке // Социально-экономические явления и процессы. №1 (035). 2012 г. – С. 250–253.
183. Шанский, Н.М. Возникшие после Октября // Русский язык в школе, 1993, № 2. – с. 94–99.
184. Шапошников, В.Н. Семантические преобразования в современном русском языке. – М.: Книжный дом «ЛИБРИКОМ», 2012. – 112 с.
185. Шаховский, В.И. Лингвистическая теория эмоций. – М.: Гнозис, 2008. – 416 с.
186. Шведова, Н.Ю. Типы контекстов, конструирующих многоаспектное описание слова // Русский язык. Текст как целое и компоненты текста. – М.: Наука, 1982. – с. 142–154.
187. Щерба, Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974.
188. Шкловский, В. Б. О теории прозы: техника писательского ремесла. – Leipzig : Zentralantiquariat der DDR, 1977. – 265 с.
189. Шмелёв, Д.Н. Современный русский язык. Лексика. – М: URSS, 2009. – 336 с.
190. Шмелькова, В.В. Отражение в лексике динамики развития русской культуры // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация, 2009, № 1. – с. 161–167.

191. Шмелькова, В.В. Процессы лексической архаизации и деархаизации в русском литературном языке // Мир русского слова, 2009, № 1. – с. 30 – 35.
192. Шмелькова, В.В. Дискуссия о культуре речи (20-ые годы XX века) и современное состояние русского языка // Проблемы прикладной лингвистики. Сборник статей. – Пенза: Приволжский дом знаний, 2008. – с. 248–250.
193. Шмелькова, В.В., Макарова, Е.В. Изменение семантики слова «дом» в русском языке первых десятилетий XX века // Русистика. №4. – Т. 20. – М., 2022. – С. 467–483.
194. Шор, Р. Язык и общество. – М.: URSS: Ленанд, 2009. – 151 с.
195. Шурупова, О.С. Концепт дом в смысловой организации Петербургского текста русской литературы // Вестник Башкирского ун-та. 2010. Т. 15. № 4. – С. 1183–1185.
196. Эйхенбаум, Б.М. О литературе: работы разных лет. – М.: Сов. писатель, 1987. – 540 с.
197. Язык русского зарубежья. Общие процессы и языковые портреты // отв. ред. Е.А. Земская. Языки славянской культуры: Венский славистический альманах. – Москва – Вена. 2001. – 496 с.
198. Dandes A. From etic to emic units in the structural study of Folktales // Journal of American Folklore. 1962. Vol. 75.
199. Walzel O. Leitmotive in Dichtungen // Das Wortkunstwerk. – Leipzig: Verlag Quelle Meyer, 1926.

Литературные и мемуарные источники

1. Алданов, М.А. Самоубийство. – М.: Эксмо, 2011. – 640 с.
2. Белозерская-Булгакова, Л.Е. Воспоминания. – М.: «Художественная литература», 1990. – 223 с.
3. Берберова, Н.Н. Курсив мой. – М.: АСТ, 2021. – 685 с.
4. Булгаков, М.А. Белая гвардия. – М.: Эксмо, 2018. – 480 с.
5. Бунин, И.А. Тёмные аллеи. – М.: Изд-во АСТ, 2019. – 352 с.

6. Газданов, Г.И. Вечер у Клэр // С того берега: писатели русского зарубежья о России. Произведения 20–30 гг. Книга 2. – М.: Водолей, 1992. – 427 с.
7. Куприн, А.И. Повести и рассказы. – Саратов: Приволж. кн. изд-во, 1985. – 384 с.
8. Лермонтов, М.Ю. Герой нашего времени. – Санкт-Петербург: Лениздат, 2014. – 222 с.
9. Лихачёв, Д.С. Воспоминания. – М.: АСТ, ОГИЗ, 2016. – 447 с.
10. Мариенгоф, А.Б. Бессмертная трилогия. – М.: Вагриус, 2006. – 510 с.
11. Одоевцева, И.В. На берегах Невы: Литературные мемуары. – М.: Худож. лит., 1988. – 334 с.
12. Пастернак, Б.Л. Доктор Живаго. – М.: Изд-во «Э», 2017. – 624 с.
13. Толстая, С.А. Дневники. – М.: Худ. лит., 1978. – Т. 2. – 668 с.
14. Толстой, А.Н. Детство Никиты. – М.: Омега, 2020. – 176 с.
15. Толстой, Л.Н. Детство. Отрочество. Юность. – М.: Дет. лит., 2020. – 254 с.
16. Толстой, Л.Н. Анна Каренина. – М.: Дрофа: Вече, 2002. – 893 с.
17. Тургенев, И.С. Ася. Первая любовь. Вешние воды. После смерти: повести. – М.: АСТ, 2001. – 317 с.
18. Тургенев, И.С. Дворянское гнездо. – М.: АСТ, 2018. – 381 с.
19. Шаляпин, Ф.И. Маска и душа. – М.: Азбука, 2022. – 608 с.
20. Шмелёв, И.С. Лето Господне. – М.: Изд-во АСТ, 2019. – 480 с.

Словари и справочные издания

1. Аркадьева, Т.Г., Васильева М.И., Проничев В.П., Шарри Т.Г. Словарь русских историзмов. – М.: Высшая школа, 2005. – 228 с.
2. Василенко, Л.И. Краткий религиозно-философский словарь. – Москва: Искусство и образование, 2013. – 256 с.
3. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Рус. яз., 2002. – 779 с.
4. Елистратов, В.С. Язык старой Москвы: Лингвоэнциклопедический словарь. – М.: Русские словари, 1997. – 704 с.

5. Жуков, А.В. Современный фразеологический словарь русского языка. – Москва: АСТ: Астрель, 2009. – 443 с.
6. Караулов, Ю.Н. Русский семантический словарь. Опыт автоматического построения тезауруса от понятия к слову. – М.: Наука, 1976. – 556 с.
7. Мокиенко, В.М., Никитина Т.Г. Толковый словарь языка Совдепии. – СПб.: Фолио-Пресс, 1998. – 704 с.
8. Толль, Ф.Г. Настольный словарь для справок по всем отраслям знания: (справочный энциклопедический лексикон): в 3 т. [12 вып.] / сост. под ред. Ф. Толля; при деятельном сотрудничестве В. Волленса. – Санкт-Петербург: Издание Ф. Толля, 1863-1866. – Т. 1: А – Дви, 1863. – 800 с.
9. Ожегов, С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Мир и Образование: ОНИКС, 2012. – 1375 с.
10. Словарь русского языка в 4-х томах под. ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Русский язык, 1999.
11. Степанов, Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Академический Проект, 2001. – 990 с.
12. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / отв. ред. Н.Ю. Шведова. – М.: Азбуковник, 2008.
13. Ушаков, Д.Н. Толковый словарь русского языка в 4-х томах. – М.: дом Славянской книги, 2008. – 959 с.

Приложение 1

Таблица 1. Ключевые мотивы и символы в описании дома в романе «Белая гвардия» М.А. Булгакова

Мотив	Символ	Репрезентация
Благополучие	Жар столовой, задёрнутые шторы	Дом-крепость: «дом накрыло шапкой белого генерала»; тепло семейной трапезы: «Но, несмотря на все эти события, в столовой, в сущности говоря, прекрасно. Жарко, уютно, кремовые шторы задернуты. И жар согревает братьев, рождает истому» [Булгаков 2018: 14].
преемственность поколений	часы, печь	Времена меняются, предметы быта остаются неизменными. «часы, по счастью, совершенно бессмертны, бессмертен и Саардамский Плотник, и голландский изразец,

		как мудрая скала, в самое тяжкое время живительный и жаркий» [Булгаков 2018: 9].
предчувствие утраты	самовар, печь, ветер	Милые сердцу предметы быта становятся враждебны: «самовар <...> поёт зловеще и плюётся», «чёрные часы <...> пошли ходуном», «по всему дому сухим ветром пронеслась тревога» [Булгаков 2018: 275].
сожаление об утраченном	сервиз, ваза	разбитая посуда – утрата семейного единства: «сервиз безумно жаль», «трещина в вазе турбинской жизни», «сух сосуд» [Булгаков 2018: 25].
фантасмагоричность	часы	одушевление предметов быта и человеческих эмоций: «на лице Елены в три часа дня стрелки

		показывали самый низкий и угнетенный час жизни – половину шестого. Обе стрелки прошли печальные складки у углов рта и стянулись вниз к подбородку» [Булгаков 2018: 185].
фатальная поспешность	абажур	«Никогда не сдергивайте абажур с лампы! Абажур священен. Никогда не убегайте крысьей побегом на неизвестность от опасности» [Булгаков 2018: 26].
обречённость	темнота, вьюга	«Темно. Темно во всей квартире», «У абажура дремлите, читайте – пусть воет вьюга, – ждите, пока к вам придут» [Булгаков 2018: 27].

Приложение 2

Таблица 2. Ключевые мотивы и символы в описании дома в романе «Самоубийство» М.А. Алданова

Мотив	Символ	Репрезентация
Благополучие	Серебряный электрический самовар, тостер, богдыханский чай	сочетание старого и нового, традиций и инноваций: «Уже был соединен со штепселем небольшой серебряный электрический самовар, – непринятая в Москве новинка. Лет пять тому назад, когда стал много зарабатывать, снял в старом доме поместительную квартиру с большими высокими комнатами, с толстыми стенами, с голландскими печами; произвел в ней капитальный ремонт» [Алданов 2011: 157]; «На электрическом приборе, поджаривались тосты. В герметически закрывавшейся коробке был чай. Приказчик

		сообщил Ласточкину, что той же самой смесью чаев всегда пользовались китайские богдыханы, - Татьяна Михайловна дразнила мужа этим чаем, и его самого называла богдыханом» [Алданов 2011: 159].
Праздник	Изобильные дружеские застолья, духовная пища	«На вечерах у Ласточкиных обычно собиралось человек двадцать пять или тридцать. Хозяева одинаково были рады всем, не считались с известностью гостя, всем говорили приятное, всех кормили и поили на славу» [Алданов 2011: 204]. Подобные застолья были изобильны не только в гастрономическом, но и в культурном плане: наряду с разнообразными

		<p>угощениями, гости вкушали и пищу духовную: «В Москве литературные салоны были в большей моде, чем музыкальные. Ласточкин у себя устроил музыкальный, понимая, что такой у него выйдет лучше <...>. Татьяна Михайловна <...> подчинилась желанью мужа и старалась, чтобы приглашенные скучали возможно меньше, хорошо ели, хорошо, но в меру пили» [Алданов 2011: 206-207].</p>
<p>Преемственность поколений</p>	<p>Дружеская беседа</p>	<p>Взаимное уважение представителей разных поколений: «Особенно охотно собирались у Ласточкиных: у Нины большая комната с мягкой удобной мебелью. Хозяин и хозяйка иногда</p>

		<p>заходили на минуту -- "пожать руку" – и тотчас исчезали. Зато присылали превосходное угощение. Ужинов Нина у себя почти никогда не устраивала, так как далеко не все другие могли бы это себе позволить, а надо было по возможности соблюдать бытовое равенство» [Алданов 2011: 176].</p>
<p>Предчувствие утраты</p>	<p>Скромная трапеза</p>	<p>Неуместность роскоши: «Медали за храбрость и боевые заслуги вы не получите, зато я вас награжу: к обеду достали шпроты, картошку и два фунта колбасы. Будете есть их с альбертиками. Шампанского вы, Алексей Алексеевич, не любите, да и неприлично было бы теперь пить</p>

		шампанское» [Алданов 2011: 257].
Фантасмагоричность	Иллюзорность бытия	«Ласточкины после октябрьского переворота чувствовали себя почти так, как мог бы себя чувствовать человек, проживший жизнь в эвклидовом мире и внезапно попавший в мир геометрии Лобачевского» [Алданов 2011: 533].
Коренные изменения в быту и сознании	Скудная мебель, скудный гардероб, отобранный рояль, человек в чёрной куртке	Изменение целевого назначения комнат, изменение модели поведения: «Спальная – прежняя столовая – была почти пуста: оставались только кровать и диван, ночной столик между ними и одно кресло; да ещё на стене висели на гвоздях немногочисленные платья и два мужских костюма. Всё остальное

		<p>было продано» [Алданов 2011: 557].</p> <p>Скоро у Ласточкиных человек в кожаной куртке отобрал рояль. Теперь они и не спорили. Играть всё равно было трудно, а продать рояль невозможно» [Алданов 2011: 559].</p>
Обречённость	<p>Бумаги, письменный стол,</p> <p>Оппозиция «внешнее-внутреннее»</p>	<p>«Мебель из реквизированных комнат переносить запрещалось, но бумаги из письменного стола Ласточкин перенес в гостиную, <...> всунул их в единственный ящик небольшого стола <...>. Попробовал вытащить этот ящик, и бумаги посыпались на пол, поверх задней стенки ящика. Это было, конечно, мелочью, но нервы Дмитрия Анатольевича не выдержали. Он сел,</p>

		<p>тяжело дыша, и долго сидел в полном отчаяньи» [Алданов 2011: 539];</p> <p>Оппозиция «мы-они»: «Зимой топить будет нечем. На жалованье Мити и впроголодь жить будет нельзя. Они кончатся? Только на это и надежда, но до того, как кончатся они, кончимся мы, если не физически, то морально» [Алданов 2011: 556].</p>
<p>Нарушение преемственности поколений</p>	<p>Дерзкие подростки, содранный со стен шёлк</p>	<p>Неуважение к старшему поколению: «Отравляли жизнь только подростки, на редкость буйные, дерзкие, вечно скандалившие и грубившие родителям. Они выбрали себе гостиную, которую когда-то обставила Нина. По-видимому, их прельстила круглая</p>

		форма этой комнаты. Расставили в ней кровати и покрыли содранным со стен шелком» [Алданов 2011: 558].
--	--	--